

ВЛАДИМИР ОРЛОВ

ТРУСАКИ И
СУББОТНИКИ
(СБОРНИК)

Владимир Орлов

Трусаки и субботники (сборник)

«ФТМ»

Орлов В. В.

Трусаки и субботники (сборник) / В. В. Орлов — «ФТМ»,

В книгу классика современной отечественной прозы Владимира Орлова вошли как уже известные читателю произведения, принесшие автору широкую известность («Трусаки», «Субботники», «Бубновый валет»), так и новое эссе «Лоскуты необязательных пояснений, или Хрюшка улыбается...», не издававшееся ранее.

© Орлов В. В.

© ФТМ

Содержание

Лоскуты необязательных пояснений, или хрюшка улыбается...	5
Трусаки	23
Субботники	32
1	32
2	33
3	38
4	41
5	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Владимир Орлов

Трусаки и субботники (сборник)

Лоскуты необязательных пояснений, или хрюшка улыбается...

Ледяные узоры, каких в Москве в окнах домов ли, трамваев ли, где некогда мёрзли в шубах и валенках, давно нет, и они неизвестны нынешним детям, я увидел проснувшись и разлепив веки в чужом доме. Прямо перед моими глазами между оконными рамами на зиму ради тепла была уложена вата, день выдался безупречно солнечный, и на белизне ватного валика золотом, серебром или неведомыми мне самоцветами играли в сказку ёлочные блёстки и обрывки новогодней мишуры. А на уличном стекле цвели ледяные узоры. Мать сидела за чужим столом, тихо разговаривала с плохо знакомой мне женщиной.

– Где я? – спросил я. – Где мы?

– У Александры Михайловны, – сказала мать. – Ты не помнишь вчерашнее?

Я вспомнил. Нас бомбили.

В эвакуацию нас с матерью отвезли пароходом в посёлок Юрино Марийской республики, двести километров ниже Горького. До войны там на берегу Волги был Дом отдыха, а прежде, до Революции, – дворец одного из Шереметевых.

Вчера нас бомбили.

На днях выпал снег, зимний, крупчатый, покрыл землю от дворца и до Волги, завалил и пустые каменные ванны шумевших некогда фонтанов, и можно было строить ледяные крепости и рыть пещеры для укрытия северных людей. Трое – я, Севка, оба пятилетние, и отважный вожак наш Юрка Жеренков, взрослый, семилетний, – ощущали себя папанинцами, и выкладывали кусками сжавшегося уже снега (завтра предстояло поливать их водой) стены ледяного дома.

И вдруг вспыхнул свет.

Временный приют беженцев из Москвы тут же превратился и впрямь в двухэтажный замок с боковыми башнями, куда на бал вот-вот должна была прибыть преображенная феей Золушка. Год с лишним мы жили со свечами и керосиновыми лампами. В праздник Революции поселковые власти решили обрадовать и себя, и доставленных к ним на сохранение москвичей электрическим светом. В Москве в квартирах были обязательны бумажные перекрестья на окнах, для сбережения стёкол, и чёрные, из плотной бумаги шторы от вражьих ловцов света, пусть и рождённого огоньками свечей. И вот в Юрино, в Марийской тиши, километрах в четырёхстах к востоку от Москвы, напомним о довоенной жизни над Волгой возникло сияние.

А мы знали, что матери наши готовят нынче давно забытое и от того волшебное лакомство – мороженое. А потому, бросив ледяное строительство, поспешили в замок.

Тогда, уже в замке, и был услышан в воздухе над нами гнусный металлический звук, похожий на вой.

Взрыв, грохот, сотрясение вечного как будто бы здания вызвали крики, истерики женщин, знакомых с гнусным воем («Юнкеры»!), и приказ: всем спускаться в подвалы. И прозвучало: «Бомбёжка!»

Поначалу нам с приятелями было забавно (хотя и обидно – обещанного мороженного мы не получили), ну, бомбят, ну и что, я, повторюсь, пятилетний, начал хвастать, мол, видел уже две бомбёжки. И ведь, действительно, видел. При посадке нас на пароход бомбили Москву, где-то недалеко от пристани, и отход парохода был нервно ускорен. Потом, когда Окой вплыли

в Волгу у Горького, в черноте ночи видели с палубы багровые огненные столбы выше по реке, взрослые говорили: фрицы бомбят автозавод. Теперь же в Юрино очень скоро детские наши (впрочем, в войну дети имели иные возрасты) похвастывания сменились страхом. Прежде мы издали наблюдали, как падали бомбы и что-то горело, и это было зрелищем. Сейчас же бомбы падали прямо на нас.

Подвал, как и чердак замка с уголками подкрышья, мы знали лучше взрослых. Изучили причуды башен с витыми внутростенными лестницами. В камнях подвала пытались отыскать замурованные двери подземных ходов к Волге. Не могло их не быть. Зачем было городить замок без тайников с кладами?.. Теперь мы сидели в подземельях при свечах, детишки поменьше – на коленях у взрослых, то есть у матерей и подростков. Сводчатые потолки и прежде казались нам враждебно-мрачными, теперь же колебания вытянувшихся огоньков свечек пугали злыми видениями невидимого, того, что было в небе и в нашем убежище от войны. А убежище это, дворец Шереметевых, трясло, оно то и дело вздрагивало, вызывая ужасы, в частности и от неизвестности любого следующего мгновения. Не убьёт ли нас, не обрушатся ли на нас чёрные камни, не засыпят ли они нас навсегда, я прижимался к матери, самое страшное было остаться без неё. «Пять... шесть... семь...» – считала мать. «Двенадцать... – было вышептано ею. И все затихло. И более не дергались огненные столбики свечей. „Спи, – сказала мать. Он всё высыпал...“

И я заснул.

А проснулся в чужом доме и увидел сияние ледяных узоров на стекле с разноцветьем сказки на уложенной между рамами ради тепла вате.

Ещё неделю все эвакуированные ночевали в домах юринских жителей, приютивших нас. Выяснилось, что на Юрино было сброшено именно двенадцать бомб. Немецкого лётчика называли дураком или неудачником. Метал он на нас бомбы 7-го ноября сорок второго года. Шли бои под Сталинградом. Немец, видимо, заблудился. А увидев в черноте земли засиявшее под ним здание, посчитал его госпиталем, и сбросил бомбы. И все они легли между нашим убежищем и Волгой...

Но может тот заблудившийся лётчик и не пожелал гибели тварей, ему неведомых...

Одна бомба из двенадцати все же угодила в двухэтажный дом на главной, верхней улице посёлка Юрино, пробила крышу и свалилась на булыжник мостовой, но и там не взорвалась, а подскочила и улеглась на деревянном балконе второго этажа. И замерла...

Упокоившуюся на балконе бомбу (я помню тот деревянный дом, он будто из «Волги-Волги», увиденной впервые в Юрино, к нему, наверняка подъезжал с бочкой водовоз дядя Кузя, на первом этаже его радовали две витрины, одна – парикмахерской с мастером в усах и с розовой резиновой грушей в руке для освежения одеколоном, и вторая – гастронома, с тремя поросятами в бабочках и белых колпаках, но поросётам нечем было торговать), так вот, балконную бомбу взрывали на лугу дня через три призванные в тыл специалисты, а по весне после половодья в оставшихся у Волги воронках мы ловили рыбу, мелкую и крупную...

Долгие годы, я уже и студентом стал, возобновлялись во мне в снах страхи одной лишь ночи на берегу Волги и превращались в видения кошмаров погибельно-ледяной жизни на пространствах не самого великого небесного тела... Конец света...

Но каково было детям Ленинграда? Или неизвестных нам, уберегаемым в благополучном, а порой даже и сытом, с картошкой, тылу, детям других городов и селений, где земля сотрясалась не в один лишь праздничный день 7-го ноября сорок второго года? И каково было в войну взрослым?

Для меня (время тогда для всех делилось на «до войны» и на войну) обещанием времени «после войны» стала междурамная укладка ваты с солнечно-ёлочными взблестками чудес.

Конец света, о котором я тогда, слава Богу, не имел понятия, отменялся.

Игрушек после Победы у московской ребятни имелось мало. Мальчишкам было проще. Рядом с нашим домом на товарном дворе Рижского вокзала, куда свозили битую трофейную технику, можно было добыть, что хочешь. Для игр и на обмен по интересу. Мы добывали там шмайссеры, кинжальные штыки с бороздками для слива жидкости, фашистские ордена и деньги, они были удивительно невесомые и будто покрытые пепельной пылью. Но разве можно было посчитать их игрушками? Это были вещи взрослых. И они напоминали о крови. Двоюродный брат мой Лёва Барбин в Яхроме, где немцы стояли хозяевами десять дней, в игре или в опыте с чужим оружием был ранен – оторвало пальцы левой руки, а двоих приятелей его разметало взрывом по берегам речки Яхромы. Я же лишь из-за трофейно-табачных искушений вынужден был бросить курить в семь лет. И на всю жизнь.

А потому нам, я ещё не пошел в первый класс, то есть иждивенцам, (выдавали на нас иждивенческие продовольственные карточки) от обладателей рабочих карточек, родителей, редко, но перепали и настоящие детские игрушки. Я получил (сам выбирал в Сретенском универмаге на углу Колхозной площади) игрушку «Салют». Состояла она из двух элементов. Для пальцев, так объяснили, предназначалась гашетка с пружиной. Нажимая на гашетку и беспокою пружину, можно было заставить кружиться с треском (звуки при салютах были обязательны) верхнее колесо игрушки, устроенное из цветowych слюдяных клиньев, при этом оно каким-то своим острием или иглой свербило нижний наждачный камень и выбивало искры (как у точильщиков ножей), а под поспешными кружениями слюдяных клиньев искры эти превращались в салютные гроздья и вызывали ощущение праздника или даже собственной сказки, лежавшей до поры до времени в кармане обязательных шаровар из чёртовой кожи и принадлежавшей только тебе. Я помню многие салюты, особо вместился в память апрельский салют взятия Одессы, было тепло и сыкотно под ногами, на небе и в лужах возникали цветочные чудеса, ракетные установки палили в воздух рядом, на площади Коммуны, у ЦТСа, нашу Одессу освободили, и было хорошо... Картинки менялись и в трубках калейдоскопов, но там стекляшки были отчуждённо-холодные, не из жизни, без смыслов и без нужды укладывающиеся в любые сочетания, они не волновали. А вот нажимы на трещотку «Салюта» вызывали всё новые и новые видения и фантазии мальчишки с Мещанских улиц. Будто бы и я брал Одессу. Будто бы и я поднимал моряков штурмовать Мамаев курган...

Однажды мать на Рижском рынке выменяла кипу газет (в доме они имелись ещё и с довоенной поры, а торговцам в рядах для кульков и прочих упаковочных дел были необходимы) на буханку хлеба. Не помню, чёрного или белого. Не важно.

Далее буханка хлеба отправилась к Большому театру. Там буханка была предложена чудотворцам, у кого имелись лишние билеты. А может быть, мать заранее договорилась об особенностях культурного обмена. Так или иначе я попал в Большой театр. Со слов взрослых я знал, что два года назад театр стоял замаскированный (мать моя, Мария Сергеевна Барбина, кстати сказать, на фабрике «Военехот» вязала в ту пору маскировочные сети для танков и пушек) и тем не менее пострадал от бомб, хорошо хоть почти все артисты его были увезены тогда в запасную столицу Отечества Куйбышев, то бишь Самару. Буханка же сорок четвёртого года обеспечила нам места на спектакле «Щелкунчик». Я долго хранил программку спектакля. Там было указано: «Маша – М. Плисецкая (дебют)».

Так в мою жизнь вошли Большой театр, Петр Ильич Чайковский, великий чудесник Эрнест Теодор Амадей Гофман, Майя Михайловна Плисецкая.

А через тридцать с лишним лет по причуде судьбы, в какой Плисецкая оказалась как бы связанной, случилось некое воздушное соприкосновение с моими текстами Марка Шагала.

И было в военном детстве ещё одно волшебство. «Синяя птица» во МХАТе.

А в Большом театре тогда я прожил сказку. Или – прожил в сказке. Недавно купил диск с записью музыки «Щелкунчика» Лондонским оркестром и услышал музыкальные картины, по тридцать минут звучания – «Начало волшебства», «Сцена в сосновом лесу», «Волшебный

замок», другие, возможно, не исполненные в сорок четвёртом, будто бы не танцевальные, а симфонические, и снова оказался в мире, без путешествий в который трудно было бы существовать в мире с бомбёжками, ожиданием похоронок, продуктовых карточек, морозно-ночных очередей с чернильными номерками на ладонях, бумажными перекрестьями на оконных стёклах.

Через двадцать лет я привёл, в предчувствии праздника, на балет «Щелкунчик» сына. Рациональный Ю. Григорович изготовил из детской сказки холодное, с блёстками, товарное изделие для продажи на валютном рынке. Мне перед сыном было стыдно. Балет (как жанр) он не взлюбил, а «Щелкунчика», как и другие сочинения Гофмана, в руки более не брал.

... Чуть не забыл о роскошном (цветном!) фильме моего детства – «Багдадский вор»! С джинном из древнего сосуда. С шалопаем, смешным, сметливым, смуглым мальчишкой, этим самым багдадским вором, не помню, как его звали, с колдуном и злодеем – визирем. Конечно, я ходил и на другие фильмы, в особенности с участием Дины Дурбин и моей великой однофамилицы Любви Орловой, на запрещённые тогда (из-за запрета на джаз) «Весёлые ребята», неслись мы с ребятами нашего двора (имели для этого по десять копеек) и на каждый показ «Острова сокровищ» с Билли Бонсом-Черкасовым и бочками рома, но и «Багдадский вор» тут же призывал нас к себе...

К чему я это всё клоню? А вроде бы подбираюсь к необязательным пояснениям. К простейшей информации. Мол, с детства любил сказку, чужую фантазию и при любых случаях принимался фантазировать сам.

А по воскресеньям (я уже был первоклассником) отец читал мне «Дон Кихота»...

Он работал в журнале, домой приезжал в шесть утра (Сталин ночью не спал, все мы его бдениями должны были быть защищены от вражеских сил, а они зверели, чуткий дядя-текстовик с усами дальновидного кота сообщал в песне хора Пятницкого на музыку композитора Захарова: «Но опять спокойно спать не дают старикам и детям. Все, кто грозит нам войною, будут за это в ответе!»). А потому, когда я приходил из школы, отец был на работе. Неделями мы не видели друг друга. Однажды в играх по взятию Кёнигсберга я прокувыркался по лестнице до первого этажа и сломал нос. Нос распух до ушей. Мать не показывала меня отцу, возвращавшемуся с работы, мол, уже спит, пока не спала опухоль. Так он и не узнал о моём лестнично-штурмовом приключении. Позже, правда, удивлялся, отчего у меня нос с горбинкой...

А по воскресеньям читал мне «Дон Кихота». Ничего не объясняя. Ничего не сопоставляя с событиями и людьми дня летящего. Просто читал. И всё. «Дон Кихот» был в двух томах, знаменитого издательства «Академия», с картинками. И ещё отец доставал для меня из шкафа томики Гоголя, скромные, коричневые, на плохой бумаге...

Дон Кихот. И Гоголь. Про Гофмана я уже сообщил.

В посещениях моих Германии я старался побывать в местах, связанных с тремя личностями, для моей натуры чрезвычайно важными – Гёте, Бахом и Гофманом. В Берлине нас с женой селили обычно в гостинице «Беролина»...

– Володя, – сказала мне умная дама, и тогда умная, и теперь умная, прочитав интервью со мной в «Литературной газете», – никогда не рассказывайте читателям, из какого сора... Зачем им знать об этом?..

Но что есть сор? Не сор ли вся моя жизнь? Для меня – не сор. Не сор. Нечто иное, существенное, названия чему я дать не в силах. Да и необходимо ли это название? Не сведет ли оно радугу к полоскам спектра?

Итак, Берлин. Отель «Беролина». Утром предстояло садиться в поезд и возвращаться в Москву. Не спалось. Я выходил на Александрплац и пустой Унтер ден Линден, мимо королевских дворцов пруссаков, разбитой Мариенкирхе, острова Музеев с Пергамским алтарем, брёл к Бранденбургским воротам. Никого – ни прохожих, ни влюбленных под липами, ни полицейских. Одни лишь кролики, шнырявшие там и тут, были свидетелями или наблюдателями

моих блужданий, братцы их шныряли в ту пору и в Веймаре, по берегам Ильма, вблизи особняка тюрингского вельможи Иоганна Вольфганга Гёте. Кролики сопровождали меня до бункера Гитлера, добросовестно засыпанного и заросшего травкой. Объяснимые фантазии возникали во мне. И я знал, что где-то поблизости свои берлинские годы провёл советник юстиции, по мнению многих, нелепый неудачник, среднего сорта композитор, чудной писака, охотно посещавший кабачок Люттера и Вегнера, герр Эрнест Теодор Амадей Гофман. А на днях я раздобыл его адрес – Траубенштрассе возле Жандармской площади и Жандармского же рынка. Невдалеке Гофман поселял и своих персонажей, доктора Дапертутто, в частности. Ну, и естественно в квартире на Траубенштрассе проживал «весьма мудрый и глубокомысленный» кот Мурр. «Который, – сказано Гофманом, – в сей момент лежит подле меня на мягком стуле и, как видно, предаётся самым невероятным мыслям и фантазиям, поскольку беспрестанно мурлычет»... От Унтер ден Линден в ночном своем блуждании я вышел к Жандармской площади (в пору ГДР из деликатности она называлась Театральной), и было найдено мною место обитания кота Мурра и его гениального хозяина. Сразу же вспомнился рисунок Гофмана «Спасение прусского государственного кредита стрельбой по горящему парикю». Был случай. Загорелся театр «в 15–20 шагах» от дома Гофмана, загорелась крыша его квартиры, горящие парики из реквизита театра полетели в сторону банка, но один из них был сбит выстрелом гвардейского стрелка... Сейчас же в моем сознании (или в реальности?) возникли несущиеся над крышами парики, стрелок, палящий в небо из чердачного окна, здание банка, не к кризису будет сказано, и любопытствующая физиономия отвлеченного от глубоких мыслей и фантазий кота Мурра...

Но надо было возвращаться в «Беролину».

Создателем детективного жанра узаконен Эдгар По. За девятнадцать лет до сочинений Эдгара По Гофман написал повесть «Мадмуазель Скюдери» из криминальной парижской жизни, по которой нынче можно снимать боевик в сорок серий. А в Париже Гофман не бывал.

Воображение. И дрызг жизни. Безупречная формулировка Николая Васильевича Гоголя, воспитанного Нежинским лицеем и чудесными представлениями о персонажах мироздания восточных славян, проживавших в тиши украинских ночей.

В семидесятые годы прошлого века в моду вошли интеллектуальные тесты. Один из них, предложенный «Неделей», с шестидесятью двумя вопросами, я от нечего делать решил заполнить. Искренне отвечал, не врал, старательно подсчитывал очки, и вышло: «Особенность натуры (моей) – отсутствие воображения». И следовали советы, как себя от этой беды избавить.

А дрызг-то жизни? Как избавиться от него? Никак. Да и не надо было избавляться. Не получилось бы.

Я уже не помню, Хрюшка улыбалась или смеялась. Спросил внучку Катю. Она вроде бы читала в детском саду историю симферопольской Хрюшки. Катя сидела у компьютера, в который раз одолевала «Косынку», брови сдвинула, какая такая Хрюшка? И вдруг опечалилась, вспомнила. Это очень грустная история, дед, очень, очень грустная. Жила сама по себе свинья и у неё ничего не было из того, что было у других, и никто с ней не дружил. Но потом что-то случилось, с ней стали дружить, она начала улыбаться и в конце концов рассмеялась. Я успокоился. Мне-то запомнилось, что Хрюшка улыбалась. Имелись основания судить, что она и теперь улыбается, и этого было достаточно...

В шестьдесят девятом году я ушел из газеты, прожив в ней десять лет. Пришлось писать заявление, привычное для той поры: «Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с переходом на творческую работу». Смешно. А в газете, стало быть, – не творческая работа? «Комсомольская правда» была тогда порядочной газетой, старалась быть честной и бескорыстной. Уход из газеты в свободные художники именовался – «на вольные хлеба». А в необходимых анкетах того времени личности всех так называемых свободных или вольных хлебов обязаны были заполнять пункт: «социальное происхождение» или «социальное поло-

жение». И все мы, неважно из каких союзов – писательских, киношных, театральных, писали: «служащий». А кто же ещё? Не рабочий ведь и не колхозник. Служащий.

Возможно, что камер-юнкер Пушкин был служащий. И Гофман с Гоголем – тоже, если, конечно, им приходилось заполнять анкеты с пунктами.

Табель о рангах предполагал, что и человек так называемой свободной профессии должен служить или обслуживать. Свобода же и вольности его состояли в праве не ходить кудалибо на работу. Но если билета одного из «творческих» союзов у тебя не было, ты мог быть объявлен тунеядцем и отправлен, как Бродский, на трудовое поселение...

У одного из самых почитаемых мною художников из круга дрезденских романтиков и современника Э. Т. Гофмана Каспара Давида Фридриха есть картина «Путник над морем тумана». Стоит человек на прибрежной скале, застыл, перед ним воды и рифы, скрытые туманом, он вроде бы спокоен и просто созерцает, но мне-то понятно, какие страсти могут сейчас (и вечно) быть сокрыты в явленных нам туманах и в душе застывшего будто бы путника. В трактовке картины искусствоведа Матильды Батистини я нашел слова: «Путник – центральная фигура романтической поэтики; это путешественник, не стремящийся к определённой цели».

Героиня Любои Орловой в «Светлом пути», ткачиха и стахановка, возносила над собой и над страной «Марш энтузиастов», и были в марше слова: «Мечта прекрасная, пока неясная, зовёт нас за собой!» В пору Суслова-Фурцевой-Демичева услышал исправление марша: «Мечта прекрасная, всегда нам ясная...»

Я же ушёл в свободные художники именно в эту самую пору путником Каспара Давида Фридриха, то есть «без стремления к определённой цели»...

То есть смутно-туманная цель у меня, естественно, была. Освободиться от оков и приёмов журналистики и научиться овладеть инструментом профессии – русским словом – и писать, рассказывая о людях и о себе так, чтобы не было стыдно перед мастерами отечественной словесности и, понятно, словесности мировой.

Приятель звонили и спрашивали: «Как тебе на вольных хлебах?». То ли сочувствовали, то ли ехидничали. «Высыпаюсь, – отвечал я. – А хлебов нет».

Какие тут хлеба, если за восемь лет (по семьдесят шестой год) у меня, кроме рассказа «Трусаки», не было публикаций?

...Что-то произошло в возвышенно-надзирающих сферах, отчего мои сочинения начали разбирать в журналах, не допускались в сборники и в лучшем случае калечились в сброшюрованных уже книгах.

А я-то считал себя благонамеренным человеком, обнадёженным честностями двадцатого съезда и не способным нанести какой-либо урон устоям вот-вот должного осчастливить нас (в 1980-м году, не позднее) коммунистического построения.

И тем не менее...

Один мой приятель, мужик порядочный, но вхожий в слои, определяющие сущность любого гражданского отсвета, в парной при гвалте оздоровлённых удовольствиями индивидуумов, сообщил мне, всё же шёпотом: «Механик тобой не доволен».

«Механик тобой не доволен» – слова из дореволюционной социально-нездоровой жизни, напеты великим Утёсовым. Они были уместны и в шестьдесят девятом году, и мне расспрашивать о подробностях не захотелось.

Ну, и ладно. Ну, и так проживём. Пусть механика щекочит другие. И всё же хотелось понять, чем же вызвано недовольство механика.

Сказал кочегар кочегару. Механик тобой не доволен. К врачу обратиться, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет.

На палубу не выходил. Сознания не терял. Кочегаром не был. И не кочегар говорил мне в бане про механика.

В шестьдесят восьмом «Юность» опубликовала мой роман «После дождика в четверг». Члены редколлегии просили изменить название сочинения. Мол, комсомольская стройка, и вдруг всякие мрачности в финале. Это ладно. Название осталось. Многие события романа происходили не в Саянах, а в подмосковном текстильном городке Яхроме (в тексте – Влахерме). И там (в романе) существовала мать одного из персонажей прославленная довоенная ткачиха-стахановка, любимица Сталина и Калинина. А жизнь её вышла пустой, несчастливой и полупьяной. И рассказывалось в романе о судьбе ещё одного яхромчанина – крупного врача-терапевта, Белашова, прошедшего все муки и мытарства по «Делу врачей». В тот год цензура была как бы отменена, могла заниматься лишь государственными тайнами, растворилась в небесах, а за все правки в тексте отвечали будто бы редакторы. Когда я прочитал в журнальной вёрстке свой текст, я ужаснулся. Яхромские эпизоды были искалечены. Легендарная завпрозой «Юности» Мэри Лазаревна Озерова, как бы и виноватая в неприятностях, лишь повела глазами куда-то в бок, а потом и вверх и поинтересовалась, согласен ли я с «журнальным вариантом» или нет.

«Журнальный вариант» был подброшен мне спасательным кругом. Он давал возможности вариантов оправданий перед самим собой...

Через год роман выходил книгой в «Советском писателе». Раскрыв её, я не нашёл многих эпизодов о послевоенной жизни страны, в частности, и слов «Дело врачей», не было такого, пропала из неё и фамилия Сталин. Никаких предварительных разговоров со мной не вели, и когда я явился с решительными выражениями к важным в издательстве людям, меня встретили с искренними улыбками, признающими право на существование в социуме простака, и было мною услышано: «Ну, старик, ты даёшь! Мы, что ли придумали эти Пражские Вёсны! Эко они распустились! Коньяку хочешь? Скажи спасибо, что и в таком виде тебя напечатали!»

И потом восемь лет меня не печатали. Правили, набирали, согласовывали и разбирали... И не печатали. Ничего. Кроме рассказа «Трусаки».

А я уже в шестьдесят восьмом, ещё работая в «Комсомолке», выслушивал на каком-то молодёжном активе указания пальчиком (или кулаком) грозящего, пустого, полуграмотного человека по фамилии Демичев, химика, что ли, но надевшего партийные безразмерные штаны дилетанта, развалившего позже Большой театр, а вместе с другими и великую страну: «Забыть о Двадцатом съезде и его обольщающей болтовне!»

Такие начинались для меня вольные хлеба и полёты свободного художника.

Тогда и возникла в моей жизни Хрюшка, какая – то ли улыбалась, то ли смеялась. Проживала она где-то вдали, а в Москву являлась в Останкино, на Аргуновскую улицу, в зеленоватый деревянный домик с башенкой, явно бывший в начале прошлого века чьей-то дорогой дачей, а теперь вставивший в себя коммунальные службы и почту со сберкассой.

На девятом году службы в «Комсомольской правде» я был, наконец, обмилостивлен квартирой (сорок с малым кв. метров на пятерых), в Останкино, тесной, как желудок клопа (или что там внутри клопа?), но с горячей водой, ванной и без соседей. Местность наша между улицей Королёва с Полем Дураков и Звёздным бульваром была прозвана Комсомольской деревней. Строили здесь дома на деньги процветающего тогда издательства «Молодая гвардия», а заселяли их комсомольские работники мелких и средних значений и журналисты молодежных изданий. Были они шустры, сообразительны и позже многие из них в тихие и в бурные годы выстроили себе высоковольтные карьеры.

Не все, конечно.

Из домика с башенкой на Аргуновской почтальоны разносили кому газеты с журналами, кому – телеграммы, кому – извещения о денежных переводах.

А денег в нашем доме не было. Да и откуда бы они взялись? Отец с матерью – инвалиды, отцу пенсию начисляли, матери – нет, домохозяйка. Жена приболела, платили ей пол-оклада, на троих с сыном у нас получалось семьдесят рублей. Шёл расчёт на прожитие каждого дня.

Мужской клуб у нас располагался в пивном автомате на Королёва, шесть, зайти туда для общения я мог, только имея двадцать копеек на кружку пива.

...Тоже мне драма, скажете вы, и будете правы.

Наши танки стояли в Праге, способные на поступки люди страдали в лагерях, а тут вы со своими двадцатью копейками!

Внезапно объявившаяся Хрюшка предлагала мне, и не раз, по десять рублей, а я их не брал. Знал, что отдать будет нечем. Быть же должником кого-либо или чего-либо, я полагал, в нашей профессии не только безнравственно, но и просто невозможно, это ведёт к благооправдательным компромиссам.

Я писал тогда роман «Происшествие в Никольском». Четверо подростков в подмосковном городке изнасиловали свою приятельницу. Правовые люди дело закрыли. То ли получив взятку от родственников парней, людей влиятельных и благополучных, то ли по какой-то иной – высоконравственной, государственной причине, и героиня романа Вера Навашина сама вынесла приговор обидчикам, прощённым сильными мира в районе...

Многим зрителям нынешних кинофильмов этот сюжет может показаться знакомым. Отчего бы и нет... Сообщу только, что свой роман я закончил в 1972-м году, и что у Веры Навашиной не было стрелкового оружия, а взяла она с собой к предполагаемому месту отмищения нож, и нож этот, уже занесённый для удара, отбросила, потому как поняла, что и негодяев, смявших её судьбу, лишить жизни она не может...

Роман я отнес в «Юность», казавшуюся мне тогда вторым домом. Там его забили отрицательными суждениями членов редколлегии. В частности и со словами: «Не отражена роль общественности...» Через десять лет на каком-то юбилее жена моя поинтересовалась у Бориса Николаевича Полевого, отчего он не стал печатать «Происшествие в Никольском», он сказал: «Струсил. Виноват, но струсил».

С робостью («со страхом и надеждой») отправился я в «Новый мир», самый остро-социальный наш журнал второй половины двадцатого века. Роман там прочитали и одобрили. И не только одобрили, но и заключили со мной договор и стали готовить текст к публикации. В редакторы мне была определена (и согласилась ею стать) Анна Самойловна Берзер. Сама Анна Самойловна Берзер. Она была редактором «Одного дня Ивана Денисовича» и других прозаических публикаций Солженицына в «Новом мире», «Матрёнина двора», например. В волнении, естественно, пребывал я в ожидании разговора с Анной Самойловной. Но текст мой, приготовленный редактором к набору, меня удивил, он был урезан и утихомирен. «То есть вы, Володя, – сказала Берзер, – правку мою не принимаете?» «Я могу согласиться или не согласиться с чьиими-либо пожеланиями, – пробурчал я, – но чужой текст принять я не могу». «Значит, вы не хотите, чтобы ваша вещь была бы опубликована... – произнесла Анна Самойловна с жалостью к автору. – Прошу тогда расписаться на каждой странице и пометить: “С правкой редактора не согласен”». Дня два у меня ушло на отчётливое выведение этих самых слов: «С правкой редактора не согласен».

Рукопись передали другому редактору и в конце концов она ушла в набор, и даже были определены два номера «Нового мира» 1974 года для публикации «Происшествия в Никольском». А в семейный бюджет поступила четверть предполагаемого гонорара. Но тут я заскочил вперёд, будто позабыв о посещениях неизвестной мне Хрюшки домика на Аргуновской улице. Хрюшка же снова была готова обеспечить меня то десятью, то двенадцатью с копейками рублями. А в том «впереди» и в издательстве «Советский писатель» роман отправили в типографию. Правда, было соблюдено условие: ни в какой сопроводилке, ни в какой аннотации не употреблять слово «изнасилование». Иначе директор издательства Н. В. Лесючевский разогнал бы редакцию русской прозы. А слово это и не определяло сути романа, было его частностью. Сошлись на выражении – «драматический случай». (Позже в ситуации с «Альтистом Даниловым» от того же Лесючевского упрятывали слово «демон»).

Не ради красного словца я написал выше о двадцати копейках. Продуктов для домашнего благополучия я мог закупать в день на рубль. От силы – на полтора. Грела надежда: вот напишу «Происшествие в Никольском», и тогда, возможно, произойдёт улучшение семейной, как нынче говорят, продуктовой корзины, тогда бы сказали – продуктовой авоськи, без которой не выходили из дома учёные жизнью граждане. А меня взяли и забрали в армию.

И лейтенантом отправили на китайскую границу. В Алма-Ате, после боёв на Даманском, а потом и в Казахстане в Джунгарских воротах на заставе Жаланашколь (1969-й год) создавали новый Средне-Азиатский военный округ, и я потребовался для его укрепления.

Никакого желания побыть лейтенантом я не ощущал, понимал, что могу и не дописать «Происшествие», а главное – болезни ближних требовали моего присутствия в Москве. Но мне объяснили, что я не один ерепенюсь, а всё равно будут отправлены (или уже отправлены) во Львов, в Прикарпатский округ, – Андрей Вознесенский и Володя Костров, – в Тбилиси, в округ Закавказский, – Евтушенко, – назывались и ещё какие-то имена и округа, их я уже не помню.

Меня, по военному билету, общевойсковому офицера, то есть лейтенанта мотопехоты, отчего-то прикомандировали к лётной дивизии. Новые сослуживцы и соседи мои по койкам сразу же стали приятелями, по вечерам играли в «буру», а по утрам вылетали в приграничные китайские небеса, и воем подвешенных к крыльям болванок пугали и так запуганное оголодавшее-нищее население. Очень скоро начальство убедилось, что ни авиации, ни мотопехоте в их доблестях вспоможения я не окажу, и меня перевели в окружную газету «Боевое знамя». Воинство в округе собралось удалое, многие из моих новых знакомых два года назад брали Прагу, теперь на стволах орудий и танковых башен писали масляной краской: «Дембиль через Пекин!» и были уверены в том, что до прогулок по площади Тяньаньминь потребуется не более шести часов лёта. Китайцы уже не дерзили, разумные люди, своего добились через тридцать с лишком лет вежливыми переговорами, и теперь окровавленный Даманский – их земля. То есть от меня не потребовались ни отвага, ни подвиги, а я уже был к ним готов, пошла тихая маета отбывания времени в обязательных рубриках младшей сестры «Красной звезды», где, как бы ни старались внимательные стражи, наборщики непременно из «военно-полевых» учений создавали учения «военно-половые». Чтобы не скучать, я решил подтвердить, – вышло – на свою шею, – репутацию столичного газетчика и написал четыре очерка, из-за которых чуть ли не остался в армии надолго. Хотя бы и на два года. Это могло произойти запросто. «Двухгодниками» из гражданских тогда начали забивать вакансии и дыры после Хрущевских шальных сокращений. Я приуныл. В Москве никто не мог мне пособить. И совершенно неожиданным, косвенным, конечно, высвободителем из несвойственного мне армейского состояния оказался (уж не знаю, в каком он звании был, раз диплома не имел, сержанта, наверное, в лучшем случае) Евгений Александрович Евтушенко, мой «земляк» по Мещанским улицам. По легенде, после публикации в «его» окружной газете поэмы Е. А. «Пушкинский перевал» был снят за крамолу её редактор, некий полковник. В Алма-Ату известие об этом донеслось немедленно, на меня стали смотреть с подозрительным недоумением: ну, и что, пусть стихов и не пишет, а вдруг возьмёт и тоже выкинет какое-либо похабное коленце? И я был возвращен в гражданское состояние и отпущен в Москву.

На Казанском вокзале меня встречали жена и сын. Шёл мокрый снег. Я вернулся отошавший и с долгом в пять рублей (на нужды четырёх суток дороги) блестящему гусару и журналисту Володе Лелюхину. Эти пять рублей долга до сих пор бередят мне душу. Но встретиться с Лелюхиным позже не удалось...

В мокрый снег босиком вышел из вагона и здоровенный мужик, путешествовавший с нами из восточных земель в Москву, высокомерно и даже брезгливо раздвигавший всех, мешавших его движению в проходах вагонов, а за ним семенили чуткие послушницы, со смиренными будто бы взглядами, но сохранявшие пластику бёдер и остроту глаз охранительниц. Мужик был полуголый, в спущенных ниже колен белых, но давно не мытых подштанниках,

пах дурно, однако такая уверенность в своём подвиге и в своём историческом предназначении исторглась из него, что и расталкивание им мелкостных людей воспринималось, как милость утомлённого суетой пророка.

«Порфирий Иванов! – шептали ему вслед. – Сам Порфирий Иванов!»

...Я ощутил, что ехал со мной в одном поезде шарлатан. Хотя, возможно, в случае с Порфирием Ивановым я и ошибаюсь. Допускаю, что он был бескорыстным чудачком, с идеей и с сомнительным учением. Но сколько потом я наблюдал шарлатанов, и в особенности, сколько теперь я наблюдаю шарлатанов, иные из них в отличие от Порфирия Иванова и вовсе не носят нижнего белья, о чём одаривают знанием население своей дурацкой страны, расположенной за пределами известного шоссе. Им, убежденным в своей миссии, пророческой ли, коммерческой ли, по завоеванию простаков или халявщиков, с их средствами, можно только позавидовать. И в этом их функция и выгода.

Пребывание в армии, любой пишущий всерьез человек меня поймет, разорвало моё проживание внутри романа, я вышел из «Происшествия в Никольском» и смог вернуться в него лишь через год.

Ходил за грибами, и вдруг в меня вцепилась фраза, будто оса ужалила: «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы». Причём жало осы не оказалось болезненным. И дальше грибы попадались, и фраза вилась рядом, намереваясь ужалить ещё раз...

После удачного грибного похода обычно, как бы ты ни устал, не сразу проваливаешься в бездумство сна, но перед твоими уже будто бы успокоенными веками глазами всё равно возникают трава и в ней шляпки грибов, боровиков, воздушно-розовых волнушек, красных и зелёных сыроежек, чёрных и белых подгруздей, их всё больше и больше, им нет конца... Но в тот день они не мешали словам «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы»...

А домовой Иван Афанасьевич ждал субботы, чтобы в останкинском кинотеатре «Космос» оказаться рядом с совершенно реальной женщиной Екатериной Ивановной Ковалевской, нашей приятельницей и женой моего друга. Он влюбился в неё. А услугами и штампами министерства внутренних дел её место жительства было определено именно в строении домового Ивана Афанасьевича. Я писал про его историю каждый день. Не забывая, конечно, о «Происшествии в Никольском». Зачем? И сам не знал. Натура требовала, задавленная, видимо, обстоятельствами быта, реалиями собственной жизни и ситуацией, случившейся в посёлке Никольское.

Интересно было. Интересно! Забавно. Оживали вдруг на клеточках школьной тетради существа, будто бы из меня произошедшие, но состоящие в родстве, не знаю уж какими пуповинами вызванном, и с Щелкунчиком, и с советником Дроссельмейстером, с Солохой и её сыном Вакулой. А главное – они словно бы существовали рядом со мной, за стеной, или в стенах, и уж, точно, в доме с башенкой на Аргуновской, а один из них отважился влюбиться в женщину с паспортом и шрамом от укуса собаки на левой ноге.

То есть это и раньше должно было случиться. Но случилось теперь. Когда я в муках и радостях приходил (так мне казалось) к собственной интонации, к свободе её, просиживая над рукописью о горьком происшествии с подростками, и кое-как пользоваться своим инструментом – словом – научился.

В детстве, в Напрудном переулке, за стеной жил мальчик Саша, одноклассник, мученик игры на скрипке. Я же, получалось, осваивал потихоньку скрипку размером длиннее – альт, скажем.

В «Юности» рассказ о домовом «Что-то зазвенело» приняли с улыбками и радушием. Отвели десять полос. Известному рисовальщику и карикатуристу Иосифу Оффенгендену поручили сделать к рассказу рисунки.

Я держал в руках вёрстку с его картинками. Ося Оффенгенден стоял рядом. «Ну, старик, – сказал Ося. – Это будет нечто...» А через несколько дней я получил письмо от Бориса

Николаевича Полевого. Он по прежнему радовался моему рассказу, но радовался и тому, что в журнале «Юность», старик, в редколлегии – американская демократия, и вот эта редколлегия, старик, проголосовала за то, чтобы рассказ «Что-то зазвенело» разобрать. И разобрали. А мне потом стало известно, что дело вовсе не в редколлегии с её незаслуженными вольностями. А в другом.

...Это «Другое» потом долго дергалось и кружило вокруг рассказа про любовь и над ним и никак не могло успокоиться. Рассказ был набран в журнале «Смена», и там его разобрали. Братья Стругацкие включили его в очередной том популярной тогда серии «Молодой гвардии», и здесь его прикрыли крышкой унитаза. И дальше продолжалось совершенно неуправляемое мною и бессмысленное порхание перепечаток рассказа на машинке по издательствам, журналам и киностудиям.

«Что-то зазвенело», без которого я бы не смог написать «Альтиста Данилова», в конце концов, был напечатан через семнадцать лет в журнале «Сельская молодежь», то бишь в 1989-м году. Вот-вот три весёлых дяди с егерями, кравчими и писарями должны были появиться в Беловежской Пуще, где их ради народного волеизлияния смиренно поджидали зубры.

А прежде на «Мосфильме» он доброхотами передавался из объединения в объединение. Все они были творческие, а потому имели номера. Первое, второе, третье... Совсем уже собирался начать работать над «Что-то зазвенело» Виктор Титов, поставивший в своем творческом «номере» «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», знаю с его слов об этом. Но ему сказали: «Да ты что!» Потом мне сообщили, что рассказ взялся читать сам Данелия, сейчас он за границей, но через неделю вернётся...

К этому времени «Происшествие в Никольском» тихо разобрали в «Новом мире». Был роман в типографских литерах, и нет его. Не балуй. А когда мне показали места, вызвавшие особое непонимание Китайского проезда (там беспорочно и в тепле пребывал Главлит), я мысленно принёс извинения Анне Самойловне Берзер. Всё, что она убирала из моих текстов, и всё, что я, самонадеянный (или обнаглевший) автор, со словами: «Не согласен с правкой редактора» восстанавливал, и привело к потоплению романа. Рукописи не горят, но тонут. И никаких имён надзирателей над соблюдением литературной нравственности нигде не было. Виднелись лишь мягкие карандашные пометки...

...Однажды судьба занесла меня в Дом на Набережной. Борис Николаевич Голубовский, тогда главный режиссёр театра Гоголя, задумал в шестьдесят восьмом году поставить спектакль по роману «После дождика в четверг». Вместе с женой он проживал в квартире покойного тестя – начальника цензуры тридцатых годов. Был приятный разговор благополучных гостей за легкомысленным и сытым столом, и кто-то предположил, что мрачные тени из дома уже изошли, и, наверное, стоит вспомнить о чём-либо весёлом. «А сейчас! – было сказано. – Вот это, пожалуй, может показаться забавным...» И был явлен гостям белый конверт с резолюцией, исполненной красными чернилами (или красным карандашом, не помню): «Печатать разрешаю. И. Сталин». Довоенный хозяин квартиры, видимо, посчитал, что его должность не позволяет решить столь ответственный случай и отважился обратиться за подмогой к высочайшей инстанции. Слова: «Печатать разрешаю» определили судьбу стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Мистер Твистер». Гости поразглядывали резолюцию и сошлись на мнении: «Действительно, забавно...»

А я после беды (моей) в «Новом мире» получил послание из издательства «Советский писатель». Перед тем я вычитал вторую сверку «Происшествия», а тонкими литературными людьми была уже произведена профилактическая штокпа, то есть через месяц через два должен был бы привезён на склады и в магазины тираж книги. Из послания выходило, что по каким-то причинам текст был прочитан заново и с ясной головой, и требуется просветление. Уж больно мрачными и несоответствующими реалиям жизни при боковой подсветке увиделись происшествия с молодыми людьми, ровесниками строителей БАМа, что без решитель-

ного просветления обстоятельств романа, книга могла бы оказаться вредной. Людей из редакции русской прозы, почти допустивших выход книги в свет, облагодетельствовали выговорами и лишили календарных премий.

Просветлять что-либо я отказался. Прежде всего от непонимания, что же я должен просветлять. Я сам, видимо, жил непросветлённый. И просто захотел описать взволновавшую меня реальную житейскую ситуацию.

...Но отваги заявить: «Режьте меня! Бейте меня! А и строчки не исправлю!» во мне уже не было. Я обещал подумать. Но думать не спешил...

К тому времени в Питере на «Ленфильме» взяли и закрыли производство четырёхсерийного телефильма «После дождика в четверг». А ведь был уже у картины и директор со штатом и автомобилем. (Киношники знают, что это такое. «Поехали!»). И почти все актёры подобрались. То есть после двухлетних мытарств на бестолковых худсоветах следовало при команде «Мотор!» разбивать бутылку шампанского. Повод для закрытия многих на студии рассмешил и опечалил. Виктор Аристов, два года как утверждённый режиссёром, срочно выяснилось, якобы не имел права быть постановщиком фильма, потому как кончал не ВГИК, а театральный институт. А уже успел поработать вторым режиссёром у Алексея Германа и на лучших фильмах Ильи Авербаха. И потом режиссёром ставил фильмы («Порох», в частности). Я же получил после окончательного расчёта четыреста рублей, по весёлости судьбы именно четырьмя сотнями бежевых бумажек рублёвого достоинства, плотно забивших нутро кейса (Сейчас в детективах открывают крышку, и в той же чемоданной ёмкости радуют расторопных героев упаковки миллионной зелени).

Хорошо хоть довёз сокровища до Москвы, а то ведь были в поезде и приключения...

Естественно, нашлись причины, по каким спектакль в театре имени Гоголя не состоялся. Может, тени в квартире Дома на набережной нахмурились и выразили неодобрение...

Совсем недавно от режиссёра Валерия Ускова, ставившего вместе В. Кранопольским фильм «Таёжный десант» по первому моему роману «Солёный арбуз», узнал историю, меня удивившую. Оказывается, в припоминаемую мною пору один сановник из наиважнейших на важной даче посмотрел «Таёжный десант», возмутился, и фильм, совершенно благонамеренно-романтический, собравший уже двадцать восемь миллионов зрителей, на долгие годы водворили на полку. Мне об этом было не ведомо...

...«Механик тобой не доволен...» А может, дело было и не в механике, а моем собственном несовершенстве? Наверняка, именно так. Конечно, так. Самоедство присуще мне. Иногда оно даже приносило удовольствия и оправдания иных несовершенств. Но чаще вызывало уныние и желание осуществлять себя в какой-либо другой профессии. С детства мечтал ведь быть географом, вот и был бы им. Но не стал (хорошо, хоть попутешествовал по стране газетчиком) и уже не мог им стать.

А надо было жить дальше и делать то, от чего натура уже не могла отказаться.

Тут как раз и случай, чтобы напомнить о доброжелательной ко мне Хрюшке. Сочетание Владимир Орлов – банальное. В годы, о каких взялся писать, в отечественной словесности и журналистике всяких Владимиров Орловых имелось множество. Был среди них (нас) даже Лауреат Ленинской премии (тогда – Эверест-Джомолунгма!), поощренный за участие в книге «Лицом к лицу с Америкой» о ковбойской поездке Н. С. Хрущёва по кукурузной стране. Был Владимир Николаевич Орлов, ленинградский литературовед, выпустивший книгу о Блоке – «Гамаюн». Книгу замечательную, её до сих пор незаслуженно (для меня) вписывают в перечень моих работ. Я же по просьбе питерского профессора, высказанной в письме ко мне, обязался не употреблять сочетание «Вл. Орлов», на него была монополия автора «Гамаюна» с младых лет. Был и ещё какой-то Владимир Орлов, сочинявший пьесы в компании с иными драматургами, этими пьесами до сих пор награждают меня составители биографических справочников. И был в Симферополе Владимир Натанович Орлов, чьи забавные и с ехидствами, как бы для

детей, стихи публиковались на шестнадцатой полосе «Литературной газеты». В его-то стихах грустила, улыбалась и уж совсем растроганная поступками друзей смеялась или даже хохотала Хрюшка.

По десятке от её весёлых настроений и стало приходиться ко мне в Останкино.

Иногда почему-то и по двенадцать рублей с копейками.

...Мало того, что я человек щепетильный. И верю в приметы. Деньги за чужие труды удач не принесут. Это одно. Но я просто представлял: вот накуплю я, расслабившись, на эту волшебную-дармовую десятку продукты, а ко мне явятся люди и скажут: «Что же вы, гражданин, рот открыли на чужой каравай, гоните деньги обратно!» А откуда я их возьму? Почтальоны происхождение извещений на десятки объяснить не могли, я ходил сдавать деньги на почту и там узнал источник поступлений: «гонорар за стих. Хрюшка улыбается». Пришлось ехать в Лаврушинский переулок, там, при знаменитом писательском доме, принявшем в свои комнаты и коридоры особо почитаемых авторов, чьи фотографии имелись в школьных учебниках, местила какая-то финансовая кормушка. Естественно, мои попытки вернуть деньги неведомому мне автору Хрюшки улыбающейся, вызывало у милых дам в кассовых окошках желание пригласить на беседу со мной психиатра. «Мы идиотки, что ли, разыскивать эту хрюшку и отсылать ей вашу мелочь! Берите. И не морочьте нам головы!»

А я не брал. И убеждал занятых дам отослать гонорары в Крым.

Занятые дамы смотрели на меня с жалостью разочарованных матерей или успешных в своих диагнозах психоаналитиков.

Тех, к счастью, ещё не развелось множество в Москве, да и теперь они могут быть полезны разве что в случаях внезапной беременности обслуги на золочёных дачах. Психоаналитики в стране дураков Иванов подмогой не станут, сами попросятся в страны с тончайшей психикой на успокоение под души Шарко.

Вершиной гуманитарной помощи упоминаемой мною Хрюшки стал заказной пакет, пришедший в Останкино из Ленинграда. Ленинградское отделение «Музгиза» прислало мне проект договора, подписав какой, я мог быть вознаграждён сорока тремя рублями. В письме мне предлагалось продать права на использование моих сочинений для написания либретто (то есть либретто уже было создано, письмо вышло соблюдением вежливой формальности) трех-актной оперы. В первом акте Хрюшка грустила и плакала, во втором, ощутив понимание других персонажей, улыбалась, в третьем – естественно, пережив катарсис, смеялась или хохотала. Но название оперы, как мне запомнилось, было именно – «Хрюшка улыбается».

Мне бы тут же разорвать пакет с документом на клочки и истоптать их, но уважение к чужому труду остановило меня и я поехал в Лаврушинский переулок, чтобы написать решительное заявление-протест, в котором я просил не ущемлять авторские права симферопольского поэта Владимира Натановича Орлова и более не приставать ко мне с оплатой чужих заслуг.

К тому времени я уже ходил со своими рублями в карманах.

С тридцатых годов, то есть при призыве: «от станка – в литературу!», при издательствах и журналах существовала система литконсультантов и «внутренних» рецензентов.

В принципе-то система – фискальная. Сославшись на мнение каких-то невидимых специалистов о якобы дурном качестве рукописи, можно было не допустить её публикации. Но, вышло, что и не бесполезная...

Нынче самую читающую страну упразднили. Зато она стала страной писателей. Что ни человек с амбицией, то – писатель. Скажем, брошенные олигархами или хотя бы нуворишами средних коттеджей и яхт, дамы, не получившие при разводах всех квартир и изумрудов, тут же становились писательницами. И толпами лезли в ток-шоу с моральными разоблачениями. Чем больше их били и угнетали прежние мужья, тем гуще получались тиражи написанных ими (якобы ими) книг.

Будучи занудой, повторяюсь. Книги не пишут. Книги издают. Но для многих нынешних писателей и писательниц это не важно. Они получают свои книги из типографий, а каким способом и какими людьми создаются товарные изделия с их именами, для них – несущественные мелочи. Потом они привыкают к тому, что они писатели.

Так вот, графоманов и людей тщеславных и в шестидесятые годы было не меньше, чем сегодня. И они жаждали славы и лавровых листьев. Стало быть, была работа для литконсультантов. Сострадательные люди пригласили меня читать рукописи в издательстве «Детгиз», а потом решила поддержать меня и «Юность». В «Детгизе», проверив мои способности, предложили даже перевести что-нибудь на русский с национального. Тогда наблюдался подъем национальных литератур. И его следовало поддерживать. Дали мне на выбор рукописи (подстрочники) чувашского автора М. Юхмы и лезгинского – К. Меджидова. История с чувашскими пионерами показалась мне морализаторски-скучной. Да и рассказано о ней было плохо. В сыром же жизнеописании К. Меджидовым ашуга Сулеймана Стальского мне стала интересна личность главного героя. О Сулеймане Стальском упоминалось во многих учебниках. Да и смотрел он на нас со множества фотографий. Древний дед в белой бороде и в белой же папахе. Аксакал и мудрец. Написал (или пропел) восторженные слова о Сталине или о Сталинской конституции. Сидел в Верховном Совете, представляя народы Кавказа. А из подстрочников К. Меджидова я узнал об истории полунищего молодого человека из бедного горского аула, лезгинского соловья и импровизатора, вынужденного обслуживать свадьбы и застолья на нефтяных промыслах Баку, о его странствиях и его любви. Материал рукописи был интересный, но походил на грудку камней, завезённых для постройки крепостной башни. Да большинство камней надо было ещё и обтёсывать. Я послал автору свои соображения об архитектонике повести, получил его добро и всё равно долго не мог заставить себя сесть за переписывание чужой работы. Заставил (аванс был уже проеден!), и тут начались странности. Перо моё принялось плести восточные орнаменты, узоры дагестанских ковров, выводило слова и метафоры, какие было жалко отдавать чужому имени. Но коли назвался груздем...

Никакие обстоятельства позже не смогли вынудить меня снова взяться за переводы или за переписывание чужих текстов. А соблазны были... Многие мои коллеги растворили себя в чужих текстах. Великолепный Юрий Казаков годы потратил на сотворение казахского эпического полотна «Кровь и пот». А толку что? Где теперь эти «Кровь и пот»? И кому они были нужны! Впрочем, что задавать пустые вопросы? По этикету дружбы народов предпочтение в издательских планах отдавалась тогда произведениям национальных литератур. А создавать их надо было на русском языке...

А «внутренние рецензии» приходилось сотворять и дальше. Почти до конца восьмидесятых годов. Их листочками забиты у меня картонные коробки. Тошно было тратить на них время, но что поделаешь... Но были и моменты радостных удивлений и открытий. Да, система литконсультанства случалась не бесполезной. Однажды в «Юность» авиапочтой прибыли вахтенные журналы с острова Карагинский, это – у берегов Корякии, между Петропавловском и Чукоткой. Работник маяка Борис Агеев на разлинованных буроватых страницах накарябал повесть «Текущая вода». Сочинения «от руки» в журналах не принимались. Для острова Карагинского сделали исключение. Я прочитал повесть, пошел к тогдашнему редактору «Юности» Полевому, сказал: «Борис Николаевич, это надо печатать!» Полевой, человек азартный, тотчас отправил маячные журналы машинисткам, а по прочтению рукописи, распорядился, доставить автора с маяка в «Юность» и немедленно. И доставили. С острова Карагинского вертолётom на Камчатку, с Камчатки – самолётom в Москву. Автор оказался обветренным, бородатым парнем, стеснительным и молчаливым, будто бы напуганным суетой столицы, из-за чего получил прозвище «Маугли». Через пару месяцев повесть его была опубликована. Став профессиональным писателем (помогли Высшие курсы при Литературном институте), Борис Агеев выпустил

несколько интересных книг. Понятно, для меня, «внутреннего рецензента», эта история вышла радостной. И слава Богу, она была не единственной...

И всё же созрела, наконец, до появления в магазинах моя книга «Происшествие в Никольском» (другое дело, появлялась она в магазинах или не появлялась, неведомо). В ту пору книга, текст которой не прошёл в журналах, называлась «могилой неизвестного солдата»...

Но так или иначе – «рукопись всплыла»...

Шёл семьдесят шестой год. И были произведены в романе столь любезные издательству и «механику» просветления. И «общественность» в романе появилась, и дело об изнасиловании не было закрыто, его отправили «на исследование»... Я бранил себя за слабость натуры, за согласие на «просветление». Но и не отказывался отыскивать себе оправдания. Мол, несмотря на все поправки суть истории не изменилась. Мол, первый вариант романа никуда не пропал, и будет случай, текст можно будет восстановить... И т. д. Главным же оправданием было для меня то, что я заканчивал тогда роман «Альтист Данилов» и знал, что теперь ни на какие издательские компромиссы я не пойду.

Хотя бы потому, что рукопись «Альтиста» я никуда не понесу. Да и куда было нести?

Оказалось, было куда.

Беловой текст романа я уложил в папки, основательно завязал их тесёмки и убрал рукопись в ящик письменного стола. И тут мне позвонила Диана Варткесовна Тевекелян, редактор отдела прозы «Нового мира». «Нет ли у вас чего-либо нового? – был вопрос». «Новое-то у меня есть, – сказал я. – Но с чего бы вдруг возник интерес к текстам неудачливого и несостоявшегося автора „Нового мира“?» «А вот рассказ ваш о любви домового гуляет от читателя к читателю, – сказала Диана Варткесовна, – почему бы и не взглянуть на ваши новые тексты...» И взглянули.

То есть рассказ мой «Что-то зазвенело» продолжал какой-то полет шмеля...

Забыл про Данелию. Упомянул выше о том, что на «Мосфильме» некогда рукопись рассказа была вручена режиссёру Георгию Данелия, тот уезжал в Чехословакию и пообещал рассказ на досуге прочитать. Так вот, Данелия вернулся из Праги, пригласил меня к себе и сообщил доверительно: «Нет, это вещь непроходимая...»

...рассказ мой продолжал какой-то полёт шмеля, от меня независимый и чаще всего мне неведомый, без надежды где-либо, как и в случаях с «Мосфильмом», приземлиться. Продолжал полёт и ещё лет двенадцать, пока не опустился на цветные полосы популярной в ту пору «Сельской молодёжи».

...И всё же в семьдесят седьмом сумел снизиться и повлиять на судьбу «Альтиста Данилова». Публикации «Альтиста» в «Новом мире» я ожидал три года. С трепетом, со страхами, с нетерпением побывавшего уже в переделках автора. Но тут сюжет особый. И печальный, и забавный.

Лоскуты необязательных пояснений. Эти слова я употребил в названии нынешнего текста. На самом деле какие-либо авторские комментарии к своим сочинениям не только не обязательны, но часто и некорректны.

Хотя, предположим, смысловые «сноски» Андрея Битова к его роману «Пушкинский дом» не менее интересны, чем сам роман...

И, конечно, как не вспомнить о «разъяснениях» Умберто Эко «Имени розы»...

Мне же захотелось рассказать не о смыслах и о причинах своих сочинений, а о том в каких условиях собственного существования они создавались. Мимоходом и об обстоятельствах эпохи. Во многом и потому, что на встречах с читателями был ошутим интерес к подробностям и закоулкам литературного бытия. А тут ещё потребовалось (так мне показалось) объяснить, почему под одной обложкой мог оказаться рассказ-фантазмагория и сочинения «реалистические». Не только ведь потому, что связаны единством исторического времени...

Потребовалось-то потребовалось...

Но вряд ли мне удалось передать сути, тайны и токи творческого движения, которые и для самого-то автора остаются тайнами.

Потому и вышли мои пояснения лоскутными. Не мною придуман такой способ передачи мыслей, воспоминаний или чувств. И не в отечественной словесности. И не в наш век. Но здесь он показался мне удобно-естественным. И мне близким. Недавно отыскались мои письма пятьдесят девятого года, мною забытые, к своим друзьям в Норильск, и они были лоскутными, с перескоками событийной и эмоциональной информации...

Менее всего мне хотелось, чтобы у кого-либо создалось впечатление, будто автор пожелал вызвать сострадание к себе: вот, мол, весь исколот шипами превратностей жизни. Ну, уж нет. Этот текст вовсе не жалобы турка. Моя судьба, российского сочинителя, схожа с судьбами многих моих ровесников. Её следует признать скорее благополучной, нежели требующей сострадания. Никаких доблестей и отваг я не проявлял.

Просто жил. «У времени в плену...» – это я не всегда ощущал. Просто существовал в рамках профессиональных потребностей ремесла, выбранного моей натурой. Или (это уже пафосно и красиво) подсказанного моей натуре Провидением. Среди этих профессиональных потребностей одно из важнейших – терпение. И, повторюсь, умение владеть словом так, чтобы не было стыдно за свои сочинения. При этом вопросы свободы и несвободы (для меня) остаются внутренне-личностными, независимыми от того, в плену я у времени или не в плену.

Но ведь и заботы о хлебе насущном...

Куда от них деться?

Легенды о преимуществах нищих творцов фальшивы.

Иоганн Себастьян Бах жил обыкновенным бюргером, обывателем, лупил нерадивых учеников палкой, долгие годы пёкся, как бы теперь сказали, о повышении зарплаты, надо было кормить семью. Бах-памятник в Лейпциге стоит с вывернутым карманом: денег нет. Но в своих творениях лейпцигский кантор взлетал в надбытовые, надмирные высоты.

«Я тружусь до изнеможения, подрывая своё здоровье, однако не могу ничего заработать. Не хочу описывать тебе свою нужду, она дошла до крайности. Уже пять дней, как я не ел ничего, кроме хлеба, до сих пор такого ещё не было». Это строки из письма Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, вынужденного долгие годы канцелярской маетой и уроками обеспечивать возможности для любимого дела.

Благополучный в зрелые годы Гёте в молодости не голодал, но в средствах стеснения имел.

Шагал в пору своего парижского ученичества (вернее, художнического становления) нередко довольствовался чёрным хлебом с селёдкой.

Так. Вспомнил о Шагале... О Шагале, а стало быть, и о Плисецкой с Щедриным. Но об этом потом...

Боль существует только сейчас. В сию минуту. Вот сейчас ноги ноют. И вчера что-то болело, но вчерашней боли уже нет. О завтрашней боли нет охоты думать. Вчерашняя же боль, как и любая другая давняя боль, была существенна и для настроения, и для состояния натуры, бытового или рабочего. Но её уже нет. Остались в памяти дела, житейские заботы с их радостями или досадами. И многие эти заботы с досадами, со страхами прошедших дней начинают казаться пустяшными (ты и твои близкие их пережили!), достойными даже подтруниваний и над самим собой, и над особенностями эпохи. Потому и был написан мной рассказ «Субботники». Как раз о той поре, когда «механик» был мною недоволен. И тут не потребовались ни приёмы фантазмагии, ни игры воображения. Рассказ чуть ли не документальный. Разве что в нём изменены фамилии персонажей. И имена. Скажем, поэт по имени Спартак стал в рассказе Крассом. А вот имя моржихи я уважительно оставил – Барон. Не слишком много игр воображения и в романе «Бубновый валет», хотя кому-то из читателей история Василия Куделина

может показаться фантасмагоричной. Но мало что случается в жизни... Персонажа, похожего на меня, я поселил в романе под фамилией Марьин.

«...век двадцатый, век необычайный, чем он интересней для историка, тем для современника печальней...» – сказано Николаем Глазковым. Впрочем, он (Глазков) залетал в «Андрея Рублёва» Тарковского и в пятнадцатый век. И там сломал руку. Или ключицу.

Но Хрюшка-то мне улыбалась! Пусть и без толку...

...Один из участников моего семинара в Литинституте талантливый Валерий Роньшин, живший тогда с поклонами аббериутам и Леониду Добычину, и в свою радикальную студенческую пору не отказавшийся бы от Нобелевской премии, был озабочен напором бытовых соблазнов и неурядиц, мешавших его творческим полётам. Приятель Роньшина служил в музее Петропавловской крепости. По просьбе Валерия (было это в начале девяностых годов прошлого века) по утрам он запирали его в одном из исторических казематов, и там в сырости одиночки Валерия сочинял рассказ за рассказом, их охотно печатали все ходовые в ту пору журналы. После полуденного выстрела питерской пушки в крепость приходила жена Валерия и протягивала в тюремное оконце судки с обедом.

Молодой был... Но неразумным назвать его было нельзя. Отчасти, конечно, отыскался бы в его выборе места для творчества и вызов судьбе. Но дни шли такие, что можно было и подерзнуть с игрой в заключённого...

Иные пришли писатели...

Тут, похоже, в моих соображениях возникает каша. Хотя как сказать... Кому-то удобнее произвести себя в аскета и творить в голодном одиночестве. Но для большинства-то обыкновенных физических особей... Казематы казематами (казематы – всерьёз, а не игровые казематы), они выводят человека за скобки, за витки колючей проволоки из нормальной жизни. Но коли ты существуешь в этой самой условно нормальной жизни, то тебе надо на что-то есть, пить, и главное – кормить семью, покупать лекарства и пр. и пр. Не зря каменный Бах стоит в Лейпциге с вывернутым пустым карманом. Каждого из людей творческих профессий, увы, гнетёт тревога – фуги фугами, поднебесные кантаты кантатами, но на что жить завтра, вдруг опять окажешься без пфенинга, то бишь гроша... Тем более, что государство приучило нас к своим фокусам и проказам...

Ну вот, пошли всё же жалобы турка... А зря.

Жили ведь как-то, порой и неплохо, и что-то делали...

Как-то ночью позвонили Плисецкая с Щедриным. «Альтист Данилов» вышел в «Новом мире» с предисловием Родиона Константиновича. Они прилетели из Парижа. Там были, в частности, в гостях у Марка Шагала. И сразу же по прилёту в Москву выполнили пожелание мастера. Передали мне его одобрительные слова. Шагал ощущал себя причастным к русской культуре, был подписчиком «Нового мира» и прочитал мой роман об альтисте Данилове. Шагал, по недоразумению называемый в энциклопедических словарях французским живописцем и графиком, был (и остаётся) одним из моих любимых художников, в его музыкально-цветовых фантазиях на фоне витебской повседневности (дрязг жизни!) или над ней угадывались (для меня) связи с творениями Гофмана и Гоголя (видел его блестящие иллюстрации к «Мёртвым душам»). Естественно, в ту ночь уснуть я не мог...

Вертикаль моей жизни. Или горизонталь её. Не имеет значения. А может, вертикаль и горизонталь одновременно. Билет в Большой театр в обмен на батон хлеба. Дебют М. Плисецкой. «Щелкунчик». Гофман. Чайковский. А вскоре – великий Борис Ливанов (он же Бомбардов у Булгакова) в великом МХАТе в роли Ноздрёва. «Мёртвые души». Николай Васильевич Гоголь. Уроки русской словесности. В частности, её понятия о любви, совести и чести. И собственный дрязг жизни...

И благодарение Богу...

Уже когда роман «Камергерский переулоч» был в типографии, мне позвонили из Российского Авторского Общества. Поинтересовались, не я ли автор стихотворения «Хрюшка улыбается» и если я, то куда переслать деньги за новую публикацию. «Чур меня! – чуть ли не закричал я в трубку, но сдержался. Давно не напоминала о себе Хрюшка! Я объяснил, что автор не я, а Орлов Владимир Натанович. „Как его найти? – был задан вопрос. „Вот уж не знаю, – сказал я. – Раньше он проживал в Симферополе...“ «Так это совсем другая страна!“ – обрадовалась дама из Общества. Действительно, это совсем другая страна. И хрюшки у них совсем другие, И свиновас у них Ющенко. Другое дело, что учитывая национальную идею, хрюшки у них должны не только улыбаться, но и отплясывать гопака. Калмыцким верблюдам из опасений, как бы хрюшки из-за них не околели от африканской чумы, два месяца не давали возможность проехать шляхами из Ростова в Болгарию.

Священное животное ридной Батькивщины. Сало в шоколаде.

Впрочем, и у нас развито свиноводство.

«Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем...» Кажется, Агния Львовна Барто, коей я имел удовольствие быть знакомым. А может, и не она. Но удивительна судьба её творений и имени. Стихи из её детских книжек становятся текстами рок-шлягеров. И уж совсем всенародное признание. Известному словосочетанию «конь в пальто» нашлась замена. На вопрос «Кто?» нынче отвечают: «Кто! Кто! Агния Барто!» Касса работает в настоящем режиме цен. Как «утверждалось» на боку чекового аппарата у кассирши Людмилы Васильевны в Камергерском переулке. «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем...»

Всегда жили ожиданием худшего. И снова отовсюда крики, порой и истерические: «Кризис! Кризис! Кризис!». Каменному Иоганну Себастьяну Баху, не забывая о мотетах и фугах, пересчитывать бы теперь пфенинги или ещё какие-то монетные мелочи, не знаю, на что делятся евро, на еврики, что ли? А художнику из Витебска, коли был бы жив, наверняка, припомнился бы вкус селёдки и черного хлеба.

Однако, слава Богу, живём. И обязаны жить.

И как бы тут снова не объявилась Хрюшка. А самое время ей объявиться. Возьмут и позвонят. И сообщат, что она улыбается. На десять рублей. Или не на десять. А «в настоящем режиме цен»...

...Сажу и сочиняю новый роман. «Лягушки» пока называется. Увлёкся. Мыслями нахожусь в городе Средний Синежтур на спектакле «Маринкина башня». И не сразу соображаю, что в соседней комнате звонит телефон. Подходить или не подходить? Или продолжить сочинение? Продолжу...

А телефон всё звенит и звенит...

июль 2009

Трусаки

Долго меня стыдили. Все уже бегали – и Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, а я нет. Сначала меня уговаривали, предъявляли мне свои животы, сопоставляли их с моим, и выходило, что их животы в чем-то стали меньше. Я им завидовал. Милые мои трусаки начали даже приобретать подтяжки, выстаивая очереди в Столешниковом переулке. А я все не бежал. «Эдак ты докатишься, – говорила мне жена. – Посмотри, на кого стал похож». Я смотрел. Какой был, такой я и остался, остановился в развитии. Но уж одно это было плохо. И я решил бежать. Хотя к тому времени бег трусцой и стал выходить из моды. Некоторые из моих знакомых, отбегав, отпускали уж усы. Кто под Бальзака. Кто под запорожского лихого сечевика. Иные, волевые, совмещали усы с бегом. Иные все еще бегали натошак, просто так. Вот и меня умными словами жена убедила присоединиться к ним. На усы, в особенности запорожского романтического покроя, она не надеялась. Но я человек застенчивый и ранимый. Представлю себе, как я в бежевом пыльном костюме и в дурацкой вязаной шапочке с заячьим хвостом-помпоном – по совету женского календаря – побегу по останкинским асфальтам и грязям, так мне дурно становилось. Виделись сразу прохожие. Один с деловым чемоданом, какой-нибудь хлыщ, физик или биолог, которому и по ночам снятся дрозодилы, останавливался, глядел на меня и смеялся: «Ну и экземпляр!» – при этом он наверняка думал, что и днем, вспоминая обо мне, будет смеяться. Мальчишка с портфелем тыкал в мою сторону пальцем и орал приятелям: «Смотрите – останкинский Борзов!.. Марк Спитц!.. Брат Знаменский!» Служащая барышня фыркала, не стесняясь, в лохматый краешек пончо. Бабка, спешившая на рынок за картошкой, шарахалась от меня и крестилась, как сорок лет назад, когда в своей мелекесской деревне увидела аэроплан. А я готов был ей ответить на ходу: «Сама не лучше выглядишь, старая дура...» Вот такие видения возникали в моей голове при мыслях о первом забеге.

Я все оттягивал его. А для того чтобы вконец не отказаться от благородной и выстраданной идеи, бежал по утрам по квартире. Задевал хрупкую зеркальную вешалку, сбивал парфюмерию. Жена не выдержала и сказала:

– Я понимаю, ты стесняешься бегать один. Но, может быть, ты с кем-нибудь объединишься? Может, в компании тебе будет легче начать?

– С кем же это?

– Ну с кем... Вон ведь в нашем дворе сколько бегают... И Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, наконец...

– Ну ладно, – вздохнул я. – Действительно, может, попробовать с Евсеевым?..

Я пошел к Евсееву. Благо тот жил этажом ниже.

– Ну что ж, давай, давай, – сказал Евсеев. Тут же он рассмеялся и подмигнул мне, как члену одной с ним масонской ложи. – Ты тоже, значит, любишь с утра?

– С утра... – неуверенно сказал я. – Если выдержи, то и перед сном можно будет... Специалисты так и советуют...

– Кто любит с утра, – захохотал Евсеев и опять подмигнул мне, – тот уж и вечером непременно!..

Назавтра утром, в восемь, сделав для храбрости под музыку репродуктора неуверенные движения руками, шеей и туловищем, я пришел к Евсееву. Был я в спортивном виде, в кедах на шерстяной носок. Жена, как боевая подруга, выйдя на лестничную клетку, провожала меня на подвиг. И я волновался. Евсеев уже ждал. В нашем доме он выделялся цветущим видом вечного везуна, громким голосом на собраниях жильцов, а зимой еще и пыжиковой шапкой. Да еще он любил петь в подъезде. Слов он не знал, но пел от души. Как выносит мусор или пищевые отходы, так и поет: «Блоха! Ха-ха-ха-ха!» И стекла звенят. А как спустит мусор в трубу, так обязательно добавит: «А мы их, брат, дав-и-и-ить!» Все у него ладилось, и ладони

от жизненных удовольствий он часто потирал с такой оптимистической энергией, что вот-вот, казалось, мог оделить всех огнем. Этаким Прометей. Заведовал он прудами в пригороде, ездил туда на машине и иногда говорил с нескрываемой радостью: «Утка – не птица, рыба – не кашалот!» Наверное, так оно и было.

– Вот... Я готов... – робко сказал я.

Евсеев оглядел меня с кед до заячьего хвоста и счастливо засмеялся:

– Давно бы пора включиться!

Жена Евсеева, Верочка, высунувшись из открытой двери, улыbnулась мне:

– Вы уж со Славы берите пример. Он два года бегаёт, и всегда бодр, и хороший семьянин.

– Ну пошли, пошли! – подтолкнул меня Евсеев, ноги его ходили ходуном, видно было, что ему уже нестерпимо.

– На лифте поедём? – спросил я.

– На каком лифте! Бегом по лестнице! Мы и так уже выбились из графика!

И он полетел впереди меня, не оглядываясь. Звук его шагов был громким и мощным, весь дом слышал, что бежит именно Евсеев.

Двор наш большой, весь в зелени, под тополями и каштанами, мятыми северным ветром, уложена бетонная тропинка. Вот по этой тропинке и пустились мы в радующий душу и мускулы первый мой забег. «Колени, колени выше! Ступай на носок! И толкайся, толкайся сильнее!» – кричал мне Евсеев на ходу и, оглядываясь, улыбался, словно был счастлив оттого, что я наконец приобщился к славному делу. Ах, как он красиво бежал! Шаг его был упруг и высок, сильное, здоровое тело чувствовалось под синим шерстяным олимпийским костюмом с белыми полосками на воротнике, дыхание было ровным и легким. И мне было хорошо. «Как здорово, что я начал!» – думал я и был готов бежать сейчас от Останкина до Мытищ, ничего бы, наверное, кроме удовольствия от бега, не испытывая.

– Стой! Куда ты так несешься! – услышал вдруг я. – Мы ведь уже за угол забежали...

Действительно, мы были уже за углом белой соседней башни. Евсеев бежал сзади, и не бежал вовсе, а так, семенил.

– Да не спеши ты! Какой удалец! Смени темп. Нам ещё надо сберечь силы на обратную дорогу. Они нас теперь не видят... Впрочем, твоя жена и вообще тебя не видела... Ваши окна на южную сторону...

Я тут же остыл, семенящим шагом потащился за Евсеевым и почувствовал, что ноги у меня – бетонные, сердце – колотится, а дышать нечем. И не тридцать мне лет, а все семьдесят.

– Ничего, ничего, – подбодрил меня Евсеев, – сейчас добежим... Это с непривычки дорога длинная...

Внутриквартильными проездами мы одолели ещё полверсты, и Евсеев как бежал, так и забежал в подъезд незнакомого мне дома. И меня рукой поманил.

– Теперь на пятый этаж, – сказал он и, заметив мой испуг, добавил: – На лифте... На лифте...

Я и в лифте по наивности хотел было бежать на месте, но Евсеев, покачав головой, наступил мне на ногу: «Хватит. Экий неугомонный!» На пятом этаже он нажал кнопку звонка. Толстый, одетый уже на службу человек открыл нам дверь.

– Что-то ты долго, – сказал он Евсееву.

– А вот, – засмеялся Евсеев и показал на меня. – Нашего полку прибыло! Спарринг-партнер!.. Проходи, проходи, ноги вытирай и прямо на кухню! Знакомься...

И он затолкал меня в квартиру к приятелю. На кухне у того на столе стояла бутылка «Старки», гранёные стаканы, только что мытые, с капельками воды на донышках, а рядом лежали солёные огурцы, ломти орловского хлеба и серебряная кожа вяленого леща, для запаха.

– Разливай, – сказал Евсеев. – Ба! Да у нас «Старка» сегодня! Одну купил?

– Одну! Как же! Очередь выстоял, – сказал приятель. – Сколько в портфель вошло. На девять забегов хватит.

– Ну давай, давай, лей. А то нам еще бежать. Не то что тебе, лодырь!

Приятель, готовый на службу, разлил водку забытого цвета в стаканы, и один из стаканов Евсеев протянул мне. Стакан я невольно взял, но тут же опросил:

– А мне-то зачем?

– То есть как? Ты не пьешь, что ли?

– Пью... – смутился я. – Но ведь не с утра...

– А зачем же ты тогда бежал? – спросил Евсеев.

Он расстроился и смотрел на меня укоризненно, даже сурово, как бог знает на кого – как на провокатора или на лазутчика. Или хуже того. Как на человека, который только прикидывается пьющим.

– Я для здоровья бежал, – сказал я неуверенно. – Я за тем бежал, за чем ты бегаешь два года...

– Ну! – загремел Евсеев. – Стал бы я бегать, если бы жена разрешала мне пить дома! А приятель мой – холостяк... Стал бы я бегать! К лешему мне этот твой бег! И на костюм вот пришлось тратиться... Семьдесят рублей... Бегать! Фу-ты, дрянь какая! Главное, для здоровья! Вот что для здоровья! И для бодрости! Пей. И не ломайся. Мужик ты или не мужик? Или ты не мужик?

– Мужик... – вздохнул я.

Выпили. Закусили. Серебряную шкурку леща понюхали по очереди.

– Утка – не птица, рыба – не кашалот! – торжественно и смачно провозгласил Евсеев и с упоением потер руки. Удивительно, отчего из его ладоней не вырвалось пламя. Этаким здоровяк, подумал я, он и на руках сможет теперь домой дойти! – Ну вот, а ты ломался, – сказал мне Евсеев с явным одобрением. – Я уж было расстроился... А то, понимаешь, доза для нас двоих была чрезмерная... Мы ведь не для куражу, а для бодрости. Третий нам кстати... Спарринг-партнер... Или ты недоволен?

– Да как-то непривычно...

– Совесть тебя, что ли, мучает, что с утра? Это, брат, предрассудки... Я тебе скажу: с утра – самое полезное... Не мы одни, а и государственные люди тоже... Вот Петр Первый, он, говорят, если с утра стакан не брал, то и Россию не мог на ноги ставить... – А окно-то к ним он подавно не мог рубить, – вставил приятель.

– Ну, насчет окна – это вообще! – подтвердил Евсеев. – Или вот полководцы. Один маршал или генерал, не помню какой...

Тут он рассказал случай про этого маршала или генерала, неизвестно какой страны, то ли нашей, то ли ихней. В общем, про Ворошилова. Однажды он собрал поутру перед сражением весь свой офицерский состав, они стали «смирно», а он грозно их спросил: «А ну, кто пьет с утра, признавайтесь, шаг вперед...» Один только офицерик и шагнул вперед. Тогда этот маршал или генерал, этот Ворошилов, приказал принести два стакана водки, или шнапса, или виски – одна радость! – и с офицериком выпил. И сказал: «Вот с ним и пить и воевать можно! А вы, все остальные, трусы, кого обмануть хотите?..» И выиграл сражение.

– Сколько с меня? – спросил я.

– Когда обычная – рубль двадцать, – сказал Евсеев. – А сегодня – рубль.

– Рубль четыре, – поправил приятель.

– У меня с собой нет. У меня и карманов нет.

– Ладно. Завтра занесешь, – махнул рукой Евсеев. – Нам и бежать пора.

– Бегите, бегите, – улыбнулся приятель.

– А ты не ехидничай, лодырь! – сказал Евсеев. – Сейчас пробежаться – одно удовольствие. Вон какие у меня мускулы на ногах стали. Потрогай.

Но приятель только брезгливо махнул рукой.

Теперь уже Евсеев в лифте чуть ли не бежал на месте. Опять ему было невтерпех. Сил у меня явно прибавилось. Несомненно, подумал я, в тренировочном методе Евсеева что-то есть. В смысле использования ресурсов человеческого организма. Давно я так легко не бегал. А Евсеев опять был красив. В особенности когда мы выскочили на открытое пространство нашего двора и понеслись по бетонной тропинке под тополями и каштанами. Тут он так элегантно и мощно вскидывал ноги, так порхал, что для меня стал походить на дивного спортсмена, который несется сейчас по праздничному стадиону с олимпийским факелом в руке, чтобы на глазах у миллионов зрителей зажечь пламя в заветной чаше. Может, и Евсееву такая мысль заслонила мозги, потому что и в нашем подъезде он бросился яростно бежать по лестнице, словно лестница эта вела его именно к олимпийской чаше, а не к жене. И я бежал за ним.

Жена Евсеева вышла нас встречать.

– Ну как? – спросила она меня.

– Да вроде ничего, – сказал я, трудно дыша. – Тяжело с непривычки...

– Замечательно, а не ничего! – шумно похлопал меня по плечу Евсеев. – Бодрость-то в нас какая! Слово десять лет скинули! А привыкнешь ты быстро, я уже сейчас вижу. Скоро станешь настоящим спарринг-партнером... Точно! Сейчас вижу...

– Да, да, – улынулась его жена. – Слава вот быстро привык. А я ведь и не надеялась, что он станет бегать.

– Значит, завтра на том же месте в тот же час, – сказал Евсеев.

Тут он мне подмигнул и приложил палец к губам: мол, о наших с тобой легкоатлетических секретах никому ни гугу. Я кивнул в ответ: что я, идиот какой, право?..

К себе на этаж я поднимался уже как старик астматик, как каменный командор, расстроенный Дон Жуаном, тяжеленные ноги подтягивал со ступеньки на ступеньку и думал о выражении «спарринг-партнер». Все мне теперь стало ясно. Был я однажды в Перми в командировке. Остановился у стенда «Не проходите мимо». Там висели фотографии пьяниц. И вот что меня удивило. В подписях корили не любителей выпить на троих, как было бы в нашем городе, а «любителей спариться». Вот откуда, понял я сейчас, пошло – «спарринг-партнер». Эта мысль меня взволновала и обрадовала. Не заржавели, значит, мы разумом. Не в одних иностранных словарях искать облегчение мыслям! Есть и у нас еще дотошные умы, способные раздвинуть границы языка и создать новые специфические выражения.

Однако воспоминание о рубле с четырьмя копейками меня сразу же расстроило. Это еще хорошо, что они достали «Старку». А потом-то ведь придется брать «Экстру». Или хуже того – коньяк. Эдак у меня и на пиво ничего не останется!

Э-э, нет! Пошел бы этот Евсеев к черту!

Жена меня встречала так, словно я был актер на эпизодах и вот наконец получил с ее помощью большую роль и теперь возвращался с премьеры. – Ну? Что? Да на тебе лица нет! Что с тобой? Какой-то ты странный...

– Тяжело с непривычки, – сказал я. – У Евсеева очень интенсивные нагрузки. Пожалуй, я с ним не выдержу... Подкосит он, пожалуй, меня...

– Да, он здоровый. Прямо как Алексеев. Тебе бы начинать с кем послабее... Ты подумай с кем... Но ты не бросай, я тебя прошу... Иначе я перестану тебя уважать... – сказала жена с угрозой.

– Хорошо, не брошу... – сдался я.

Я на работе все думал, с кем мне бегать. Все прикидывал, кто из милых моих трусаков пьющий с утра, а кто нет. Ни в ком я не был теперь уверен. И тут я вспомнил о Короленкове. Этот уж точно непьющий, некурящий и даме уступит место в троллейбусе. Подозрительный в общем-то человек. И уж больно педант. Он и в жару ходит в костюме и при галстукке, а из кармана пиджака у него непременно высовывается уголок платка из галстучного же материала. Он

уж точно и вилку никогда не возьмет в правую руку и даже самую мелкую кость ни при каких обстоятельствах не проглотит. Такой он весь аккуратный, что лучше бы ему лежать в палате мер и весов. А он что-то конструировал, какие-то вагонные тормоза. Но тормоз Матросова был не его. Знакомые Короленкова, и я в том числе, его не любили, считали, что он себе на уме и похож на Клима Самгина. Но теперь-то именно Короленков и был мне хорош. Недели две назад он и сам звал меня бегать с ним. Привлекало меня и то, что Короленков был совсем не атлет, а такой же, как и я, щедущий служащий и, стало быть, вряд ли бежал быстро и далеко.

После работы я зашел к Короленкову в соседний дом. Он выслушал меня и, как мне показалось, растерялся.

– Ты же сам звал меня, – сказал я.

– Ну да, ну да, – кивнул Короленков. – Но лучше было бы, если бы ты предупредил меня заранее... Может, ничего и не выйдет... Это ведь тонкое дело...

– Тонкое, – согласился я.

– Ну ладно, – сказал Короленков. – Попробуем предпринять экстренные меры, авось что-нибудь и получится... Завтра приходи ровно в семь. Форма одежды – спортивная.

– В семь? – удивился я.

Неужели, подумал я, Короленков так подолгу бегают? Мы с Евсеевым начали сегодня в восемь, а и то многое успели. Я уж хотел было заявить, что дудки, что в семь мне ни к чему, что с семи пусть бегают мои враги, но почувствовал, что отказываться мне теперь будет неловко. Тем более что я сам вынудил Короленкова предпринимать какие-то экстренные меры. «Какие меры? Зачем? Не надо!» – хотел было я сказать Короленкову, но не сказал, побоявшись сказать глупость. Умный и серьезный вид его меня смущал.

Назавтра в семь я пришел к нему. Захватил с собой рубль с четырьмя копейками и широкий бинт на случай встречи с Евсеевым. Рубль четыре копейки понятно зачем. А бинт, чтобы срочно забинтовать что-нибудь – коленку, палец, руку, голову наконец – и тем объяснить Евсееву причину своего отсутствия. Но я не попался Евсееву на глаза.

Побежали мы с Короленковым. Тренировочный костюм был на нем хороший, эластичный, иноземной выделки. И бежал Короленков хорошо. Тихо. Молчал. Только однажды обернулся ко мне:

– У тебя тоже, что ли, с женой нелады?

– Нет, – сказал я. – Лады.

Он как будто бы мне не поверил. Спросил:

– А чего же ты тогда бежишь?

– А при чем тут жена?

– Хотя да, – сказал Короленков. – Жена в наше время тут действительно ни при чем...

«Неужели, – расстроился я, – и этот стал пить? Тогда рубля-то мне не хватит!» Я уже хотел было захромать, но тут мы протрусили под аркой и выскочили в сквер у трамвайной остановки.

– В седьмой садись, – бросил мне Короленков. – Только не в семнадцатый. Семнадцатый сворачивает в Медведково.

Тут бесшумно и резво подошел именно седьмой трамвай, Короленков неторопливым, но деловым шагом подбежал к задней двери и вскочил в трамвай. И я вскочил в трамвай. И только когда мы проехали остановку и я с трудом вырвал билет из никелированной челюсти кассы, я вдруг словно очнулся. Куда я еду в этом пустом трамвае, зачем я здесь?

Я хотел было спросить об этом у Короленкова, но он был холоден и строг, меня будто и не знал, и я подумал, что вопросом своим я покажусь Короленкову смешным и инфантильным. Значит, он знает, зачем я в трамвае и зачем я еду. Он человек основательный, у него свой метод бега трусцой.

Через пять остановок мы сошли, и Короленков сказал, что бежать не надо, что тут и пешком три минуты.

Он меня завел в дом с рыбным магазином, и на втором этаже по его звонку нам открыли две барышни. Были они наших с Короленковым лет и приветливые. От одной из них, Оли, я чуть было не растаял. Но это выяснилось потом. Другая, Женя, сейчас же, не стесняясь меня и своей подруги, бросилась обнимать Короленкова, отчего тот смутился и стал поправлять очки. Оля же, улыбаясь, смотрела только на меня и словно бы чего-то ждала.

– Вот... Знакомьтесь... Мой приятель... – представил меня Короленков. – Я вам о нем рассказывал по телефону.

Нас с шумом повели пить чай, и на столе в большой комнате я увидел удивительные сладости, воздушные, бисквитные, песочные, о каких я мечтал в голодном детстве. А теперь они мне и задаром были не нужны. Заметив мое холодное отношение к сладкому и мучному, Оля тут же стала предлагать мне бутерброды с колбасой, бужениной, сельдью в томате, и я от растерянности и по причине гуманитарного образования их брал. Знал, что нельзя. Знал, что бегать с набитым желудком вредно, а нам еще предстояло ехать обратно на трамвае, и тем не менее брал. Тут Женя извинилась перед нами с Олей, сказала, что ей надо кое о чем посекретничать с Короленковым, и увела Короленкова. Я уже говорил, что я человек застенчивый, и, оставшись с Олей, или молчал, или бормотал невнятное и то и дело рвал тонкие нити ее вежливой беседы. А женщина она была приятная...

– Да что это вы все на дверь смотрите да на часы, – не выдержала Оля. – Вы уж за Короленкова не волнуйтесь. У них там свои любезности. Вернется ваш Короленков.

– Я и не волнуюсь...

– Чтой-то вы скучный какой...

– Это я спросонья...

– Столько бежали и не проснулись?

– Надо было больше бежать. На трамвае не стоило ехать.

Тут Оля, видно, поняла, что резкими словами она многого не достигнет, и сразу стала более душевной и доброжелательной. И разговор у нас пошел. Мы обменялись мнениями о Фишере и Спасском и о том, сколько денег каждый из них получил, поделились догадками, почему Доронина ушла из МХАТа и что она еще выкинет, не уедет ли куда в Можайск, говорили и о модах и о продуктах, в частности о гречке. Умный разговор сближал нас, скоро Оля уже сидела рядом и пыталась из рук накормить меня бисквитным тортом. Из-за лишних движений кусок этого гнусного торта упал на мои бежевые брюки и испачкал их кремом и вареньем. Что мне было теперь делать! Мы боролись с пятном горячей водой, солью и химикатами, толку было мало. Попробовал я забинтовать ущербное место широким бинтом, но на ноге у меня появилось черт знает что, какая-то порочная подвязка из эпохи канкана и фонографов Эдисона. Я был сердит. Порой в очистительных хлопотах я чувствовал прикосновение ласковых рук, но пятно действовало на меня сильнее. Лучше бы уж я по ошибке сел в семнадцатый трамвай и уехал в Медведково! Тут появились Короленков с Женей.

– Пора, – сказал мне Короленков.

– Я уж вижу, – проворчал я.

– Вы на меня обиделись? – спросила Оля.

Вид у нее был такой печальный, что мне стало ее жалко.

– Он всегда хмурый, – сказал Короленков. – Он тяжелый на подъем. Нужно время на то, чтобы его растормошить.

– До завтра, – улыбнулась мне Оля с надеждой.

– До завтра, – сказал я.

В трамвае я усердно прикрывал пятно руками.

– Ну как? – спросил Короленков.

– Что как?

– Я не про свою. Я про Олю... Конечно, она с характером. Тут сразу ничего не выйдет. Но и в длительной осаде есть своя прелесть. Впрочем, если бы ты заранее предупредил меня, я бы без спешки подготовил тебе более подходящий вариант.

– Отчего же, – обиделся я за свой нынешний вариант, – очень приятная барышня.

Вообще-то я сидел надутый. Тоже мне фрукт! Не мог предупредить меня, куда мы побегим и поедем на трамвае! Но Короленков и не замечал моего дурного настроения. Может быть, подумал я, две недели назад он и говорил мне обо всем, да я забыл?

К дому мы подбежали тихонечко. Остановились возле его «Жигулей». Он осмотрел машину на всякий случай. – А то ведь растолстеешь с машиной-то, – сказал Короленков. – Ни шагу ведь с ней пешком.

– Да. – Я кивнул.

– Вдвоем все-таки бегать лучше, – добавил он.

– Наверное... – не стал спорить я.

– И ты понял – у них всегда можно хорошо позавтракать... Тоже ведь экономия... Трюфеля она мне покупает к чаю...

– Зачем же их разорять?

– Ничего, – сказал Короленков. – Они женщины самостоятельные, эмансипированные, и зарплаты у них большие.

У своего подъезда он опять остановился и произнес со значением:

– Я знаю, что ты джентльмен, и надеюсь, что никто ни о чем не узнает...

Я только пожал плечами: а то не джентльмен.

– До завтра, – услышал я вслед.

«Ну уж шиш! – подумал я. – Торты, пятна, любезности. Это тяжело с утра. Конечно, Оля – приятная женщина и очень была со мной ласкова, но у меня крепкая семья. Да и вставать к семи, это уж извините!»

От жены я узнал, что мне звонили Москалев с Долотовым, они услышали, что я побежал, и обиделись, что я бегаю не с ними.

– Может, действительно с Москалевым и Долотовым? – задумался я вслух. – А то Короленков гоняет по каким-то пустырям с лужами. Эвон, всю брючину измазал!

Признаться, я и раньше хотел бегать именно с Москалевым и Долотовым, да робел. Уж больно на вид они были спорт смены. Все бегали кто в чем, а они – и в самый мороз – в белых майках. Дети Долотова – юные художники-прикладники – эти майки расписали с помощью трафарета по рецепту журнала «Америка». На майках на спине и на груди получились круги, а внутри этих кругов стояли парни из «Роллинг Стоунз» с гитарами. Вокруг парней были выгнуты слова вполне приличные и самостоятельные, предложенные Москалевым: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Вот в этих майках Москалев с Долотовым не раз проносились мимо меня, словно срывая на ходу золотые значки ГТО, и у меня сердце обрывалось. Куда же мне с ними тягаться? Однако теперь я был готов бежать и с ними.

Я знал, что они люди серьезные. Оба работали на фабрике по производству карт. Географических, разумеется. Москалев отвечал за то, чтобы на карте число кружочков городов областного подчинения точно соответствовало новейшему административно-территориальному делению. И чтобы ни кружочка больше не просочилось. Эдя Долотов заведовал пуансонами – кружочками – помельче: в его ведомстве были районные города. Недавно, говорили, Москалеву дали важный пост – под его наблюдение попали пуансоны краевых и областных центров. Эдю же хотели посадить на нагретое Москалевым место. За ними теперь был глаз да глаз, и вряд ли сейчас они могли позволить себе бегать по утрам неправильно. Хотя бы и в белых майках. Вот поэтому я за ними и увязался.

Бежали мы назавтра вдвоем быстро, но недолго. Добежали до бульвара, а там мимо скамеек рванули прямо к газетным стендам, тут и остановились. То есть остановились Москалев с Эдей, а я-то все бежал.

– Вы что? – растерялся я.

– Мы будем читать, – сказал Москалев. – Можешь читать, можешь бегать, а можешь сесть на лавочку и ждать нас..

– Садись, – сказал Эдя. – Ноги побереги. И, будь добр, последи за временем, а то мы зачитываемся.

Однако я не хотел сидеть. Кругами, кругами я стал обегать газетные витрины. А Москалев с Эдей все читали. Москалев встал к «Советской России», а Долотов к «Сельской жизни». Читали они все подряд, с первой колонки и до последней, и видно было, что наслаждались. Я устал, сел. Чудесные все-таки люди, думал я. Они не только сами читали, но и друг другу помогали узнавать о событиях.

– Эдя! – кричал Москалев. – Ты можешь мне поверить, в Кировограде исчезли из продажи кительные коврики!

– Надо же! – удивлялся Эдя. – Что делается-то! Сейчас приду прочитаю. А я про Уганду... Нехорошо у них на границе-то, нехорошо...

– Да... В Уганде, да... все каверзы... – покачал головой Москалев. – Я скоро кончу, я здесь одну заметку оставил на десерт. Про зайца-людоеда.

– Про зайца-людоеда и у меня есть, – обрадовался Эдя. – И про Боброва...

– Что про Боброва? – встрепнулся Москалев. Странно, но они не замерзали, а я замерз и снова стал бегать.

– Да брось ты! – крикнул мне Москалев. – Иди лучше почитай «Лесную промышленность». Мы не успеем. А ты нам по дороге расскажешь.

– Как же! Сейчас! – сказал я. – Я неграмотный.

Они перешли на другие газеты. Потом на другие. Потом наткнулись на кроссворд. Достали ручку и стали заполнять клеточки, не замечая стекла.

– Помогите! – крикнул мне Москалев. – Щипковый инструмент... Ну?

– Щипцы, – сказал я.

– Да нет! Больше букв.

– Ну пассатижи...

– Да нет, – чуть ли не застонал Москалев, – музыкальный щипковый инструмент.

– Время! – обрадовался я. – Взгляните на часы. Скоро нас будут ждать на работе.

Домой мы бежали резвее. Оказалось, что Москалев с Долотовым всегда зачитываются и опаздывают, и я, третий, очень нужен, пусть и отказался от «Лесной промышленности». Они и на бегу говорили о политических событиях дня.

– А дома вы что, не можете читать? – спросил я. – Навыписывали бы газет и читали бы.

– Дома! – рассмеялся Эдя и, поглядев на меня, повертел пальцем у виска. – Дома у нас жены.

– Витя, убери газету! – сказал Москалев голосом жены. – Какой пример ты подаешь за едой сыну!

– Да, Витя, – согласился я. – Жена у тебя тигра.

– Чем меньше мы бываем с ними, – сказал доверительно Эдя, – тем оно вернее... А газеты-то мы выпишем...

– Еще чехлы к мебели заставит прибавать. Или шубу колонковую выгуливать на балконе. Или хуже того – надевать пододеяльники, а углы у них склеились, бьешься, бьешься и все на свете проклянешь!

Насчет пододеяльников я не мог не согласиться с Москалевым... Но вот мы были уже у моего дома, я встал, а они с Эдей понеслись дальше, и снова я увидел на их спинах хорошие

слова: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Грустный, я прощался с милыми моему сердцу спортсменами.

На следующий день я совершил мужественный поступок. Я побежал один. А ну их всех, решил я.

Сначала я робел и спотыкался, а потом забыл обо всем. Утро было чудесное, сухое, желтые листья устилали ставшую твердым камнем грязь. Шаги мои были упруги, за три дня я привык к бегу, да и раньше когда-то я любил бег. Мышцы ног поначалу болели после прошлых пробежек, но такая боль была приятной, стало быть, мышцы крепли. А потом и боль прошла. Все было прекрасно теперь – и голубое с седой печалью осеннее небо, и тихие переулки Останкина, и мой бег, легкий, как полет, и сам я, видимо красивый и сильный сейчас, и радостная свирель, будто бы летевшая невидимой надо мной и жаворонком удивлявшаяся моему бегу.

– Смотри, смотри, чучело-то какое бежит! – услышал я и обмер.

Ранний школьник, портфель бросив под ноги, стоял и показывал на меня пальцем:

– Вон, вон, дядька бежит, геморрой лечит!

Что я тут мог? Сказать мальчику, что он не прав, что пионеры таких и слов знать не должны, что пусть геморрой лечит его отец, или просто надавать негодяю по шее? Ничего я не сделал. Просто с трудом добежал домой, и все. Свирель утихла, кто-то разломал ее об колено и выкинул в Останкинский пруд.

Стало быть, все. Стало быть, один я не могу.

Я уже и совсем хотел было отказаться от затеи, но жена опять сказала, что она перестанет меня уважать. Да что жена? Я сам бы перестал себя уважать. Я действительно тяжелый на подъем, но уж если что начал, так меня не остановишь. Я упрямый. Бегать так бегать. Только с кем?

Я всю ночь не спал. С кем же бегать-то? Мне казалось теперь, что у всех знакомых трусиков есть свои маленькие тайны. Миша Кошелев, думал я, наверняка бежит играть в преферанс. Дунаев, тот, по-видимому, носится чинить машину, он и вечером лежит под ней. Ося? Ося – не знаю. Но бежит Ося в кожаном пиджаке и с погашенной трубкой во рту и от одного этого кажется таинственным и сверхчеловеком. Вот Каштанов, тот наверняка просто бежит, но уж больно он скучный. Так я перебирал всех своих знакомых и ни на ком не мог остановиться. Москалев с Долотовым отпадали. Газеты я могу читать и на работе. Короленков тоже. Оля хороша, но жена мне друг. Оставался Евсеев. Его, что ли, терпеть? И чем больше я ворочался, чем больше думал о нем, тем все увереннее приходил к выводу, что его стиль бега мне наиболее близок. «Да чего там, – говорил я себе, – вот и полководцы с утра не брезговали... Маршал один или генерал». Что же касается пива, то я решил за обедом экономить на салатах, вот и на пиво у меня останется. С тем я и заснул. Утром я надел спортивный костюм, взял пять рублей и пошел вниз. Я услышал, как Евсеев запел: «А мы их, брат, дави-и-ить!» – и побежал по лестнице. И тут я сломал ногу.

1972

Субботники

1

Жилось плохо. Полоса мокрых дождей со снегом. Напишешь что-то, прочитают, наберут, а потом – в разбор. С просьбой о просветлении текста. Жена угодила в больницу, и надолго. На троих в месяц выходило семьдесят рублей. А тут субботник. Или внеси червонец в фонд. Или прояви себя в деле. Иначе засомневаются – со всеми ты или бредешь один и неизвестно куда. Колебания вышли краткими, полезнее для семьи и народа было идти куда направят. А местом приложения гражданских усилий моим коллегам издавна был определен зоопарк.

2

В субботу к восьми утра я поехал в зоопарк. Апрельский день был сырым, лил дождь, трамвай выбрызгивал воду из стальных пазов, полагалось бы взять зонт, но с зонтами в бои не ходят. «Сегодня мы не на параде», – слышалось из динамиков по всем путям движения транспорта из Останкина к Грузинам.

Бывалые люди в плащах, резиновых сапогах втекали в служебную калитку хозяйственного двора на Большой Грузинской. Выглядели они невыспавшимися, обиженными – в цехе у нас больше сов, – терли глаза и позевывали надменно, как бы с намеком на внутренние свободы и независимость. Впрочем, все давали понять, что явились сюда, хоть и отодвинув бумаги, для вечного, но с ощущением долга. Знакомых я увидел мало, а вот поэт, как он сам рекомендовал себя – южно-рыльского направления, Болотин шагнул ко мне.

– И у тебя, что ли, десятки нет? – спросил Болотин.

– Нет, Красс Захарович. Вот я и...

Я смутился, будто бы оправдываться был намерен насчет десятки; птичий глаз Болотина оживился, но тут же погас. Болотин был вял, губы облизывал, и я понял, что нынче он меня не одолеет. И крепость не возьмет.

– Ну и правильно, – кивнул Болотин. – Главное, проследи, чтобы тебя в списке не пропустили. У нас, сам знаешь, все идиоты и растяпы.

Красс Захарович скривился и сплюнул.

– А у кого список-то?

– У бригадирши, вон, в брезентовом плаще, Анны Владимировны, переводчицы.

Я поспешил к списку, потоптался среди последних и, убедившись, что меня внесли, вернулся к Болотину.

– Первый раз, что ли? – спросил Красс Захарович.

– Первый... А вы?

– Бываю тут... Через год захожу... Надо иногда надзирать над фауной. Хотя и так видишь каждый день вокруг себя всякое зверье и насекомых гадов. Вонь и смрад, вой шакалов. Вот и ты. Но ты хоть ладно, похож на бобра. Или на енота. Можно и терпеть. А возьми Феклистова.

Феклистов был редактор и критик, Болотин прежде с ним дружил.

– Этот точно – игуана, есть такая ящерица в Западном полушарии, дикари с голода жрали, и тех рвало. Эдаких-то и надо сюда, и немедленно, в клетки, я тогда бы каждый день ходил на субботники! И в морду бы им морковь тыкал! А освобожденных отсюда тварей – кандалы прочь! – развести бы по кабинетам и столам! Впрочем, какой и от них толк! Тоже мразь и убогость! И создатель наш так называемый убог! – Тут Красс Захарович голову вскинул и пальцем с чернильными пятнами на нем, дождь презрев, чуть ли по небу не постучал, желая нечто с горних высот низвергнуть. – И создания его убоги, лживы и жалки!

Красс Захарович имел прозвище «Кургузый», лицо его вызывало у меня мысли о моченом яблоке или хотя бы о торговце мочеными яблоками, бывшем банковском служащем, в часы одиночества мучающем ливенской гармоникой «Чардаш» Монти. Однако не раз он производил себя в Исполина, должного крушить небеса.

– Зачем вы себя-то браните, Красс Захарович? – не выдержал я. – Ладно мы. Но ведь и вы – создание.

Красс Захарович будто опомнился, притих. Но тут же скорострельно спросил меня:

– Чем мы, люди-человеки, отличаемся от животных и растений?

– Красс Захарович... – развел я руками.

– Ну чем, чем, грамотей?! Инженер душ!

– Красс Захарович, это, возможно, вы инженер, а меня увольте...

– Ну что, что приобрели-то мы со всеми нашими утопиями, Томасами Морами, партиями, трудом, склоками, казармами, чего нет у багамских вивей и пятнистых мокриц?

Возникший возле нас минутой назад маринист Шелушной, вечно радостно-удивленный, испугался и отступил с намерением сейчас же размежеваться:

– Категорически и всегда! Я тебя не понимаю, Красс Захарович, нынче всюду марши, души наши как воздушные шары, готовые взлететь, а ты...

Красс Захарович оценил слова приятеля матерным белым стихом.

– Все. Приступаем, – услышали мы голос бригадирши Анны Владимировны. – Фронт работ назначен, милостивые хозяева снабдят нас инвентарем, и мы разойдемся по участкам. Кто, куда и с кем – говорю...

Шелушной отступил от нас еще на шаг, давая понять, что никакие силы, никакие пироги не заставят его идти на один участок с Болотиным. А мужик он был бравый, с наколкой на левой руке, свидетельствовавшей о прохождении службы на крейсере «Бурный». Ерепениться он ерепенился, однако производственная необходимость совместила его на одном участке именно с Болотиным. «Возле слонов», – было объявлено. Назвали и мою фамилию. Мне вместе с Шалуновичем и Берсеньевой следовало начинать у водяных животных.

Милостивые хозяева прежде выдали нам ломы, лопаты, носилки и брезентовые рукавицы. Они, хозяева, были чрезвычайно предупредительны, они, казалось, были готовы и все работы выполнить за нас, но тогда бы случилось искажение порывов и идеи. От водяных животных нам предстояло перейти затем к хищным. В сопровождающие нас определили зоолога Дину Сергеевну, и мы пошли. «Не спешите, – кротко улыбнулась нам Дина Сергеевна. – У нас еще будет время». Шалуновича, выяснилось, я встречал в чьем-то доме, знал его переводы Верлена, он был мне приятен. Мы уложили на носилки ломы и лопаты, светская дама Берсеньева, пребывающая в тайном возрасте и жанре, доверила нам нести свои брезентовые рукавицы, а сама шествовала впереди, взяв под руку Дину Сергеевну, и, будто Капица телепатриотам, что-то рассказывала ей, рассказывала... «Вы не поверите! – обернулась она к нам. – Нашего моржа зовут Бароном. Какая прелесть!» Возразить ей мы не могли.

Зоопарк стоял смирный и тихий. Конечно, город по-прежнему возбуждал население музыкой пламенных моторов, кричали птицы – просто так или со смыслом, какие-то звери лаяли, выли или вздыхали, тишина и смирность зоопарка были внутренние. Зоопарк будто притих в некоем ожидании или сосредоточенности. Я давно не заходил сюда. Но здешнее место держалось в памяти шумным, с движением толпы, с радостями детей, с простодушными от неведения забавами молодняка. Нынче взрослым было не до прогулок, дети еще спали, ко всему прочему зоопарк жил по зимним порядкам: существам, каким северные прохлады были неприятны, полагалось пребывать пока в помещениях. Они и рыла не казали. А те, кто был в шерсти, в мехах, в дубленой коже, кто сносил московские непогоды, именно присмирили в своих домах и конурах, в углы забились или прикинулись спящими, чтобы не мешать. Понимали, что не они сегодня здесь главные, а главные – двуногие с носилками, ломом, лопатами, граблями, и им дано осуществлять всеобщий подъем благонравия живых организмов.

Так мне казалось. По крайней мере, этим я объяснял себе притихшие клетки и словно бы пустые вольеры. Но вот мы приблизились к водоемам и лежбищам. И здесь было пусто и тихо. Белые медведи не бродили по льдинам, палатка Папанина не виднелась в дальней студености. Дождь лил по-прежнему, я подтянул «молнию» куртки к подбородку. Дина Сергеевна, похоже, стояла в смущении, она смотрела в бумаги, сверялась с местностью и не находила в Баренцевом море остров Колгуев. «Бессонов!» – кликнула она. Явился Бессонов, местный служитель, мужичок в плащ-палатке, обликом своим сразу же не потравивший лирическим интересам светской дамы Берсеньевой.

– Бессонов, где же тут куча, камни, щепы, отбросы и куски асфальта? – строго ткнула пальцем Дина Сергеевна в бумагу.

– А убрали, – сказал Бессонов.

– Когда?

– А позавчера. Машина пришла – и убрали.

– Как же так! Что же вы!.. – взволновалась Дина Сергеевна. – Будто вредители! Вам же не велели убирать да суб боты!

– Ну забыли, – виновато сказал Бессонов. – Лежит с осени всякая дрянь... А тут машина пришла...

– Слов нет! Нет слов! – Дина Сергеевна чуть ли не плакала. – Что же им теперь делать?

– Да, милый! – радостно заявила Берсеньева. – Что же нам-то теперь делать?

Бессонов размышлял медленно и совестливо.

– А вот, – сказал он. – У них ведь ломы? Ломы. А тут лед. Прямо возле Бароновой ванны, сверху грязный снежок, а под ним лед. Пусть колют ломами и вон туда носят, оттуда машина заберет...

– Он ведь сам растает... – задумалась Дина Сергеевна.

– Это когда растает, – сказал Бессонов. – Тут тень. И от Барона холод. Все равно что полюс. Это он к троицыну дню растает. А им на два часа дел хватит.

– На два часа? – не поверила Дина Сергеевна. – Ну, если на два часа, это в самый раз. Это хорошо. Ты, Бессонов, объясни товарищам, что и как, а я пойду к хищным. Вдруг и там подъезжала машина...

И вот мы с Шалуновичем с трепетом в душах взяли ломы и принялись долбить лед у каменного опояса обиталища моржей. Ученая табличка на ограде представляла Барона как животное семейства моржей отряда ластоногих, далее шли термины латинские и справочные слова. Светская дама Берсеньева скинула пухлую красно-синюю куртку, и оказалось, что на ней блестящий, сжавший плоть костюм, то ли для горных лыж, то ли для бобслея, то ли для подводных охот. А может, и для космоса. Женщина была обильная, но стройная. Дождь ее не пугал. «Вы сноровистые мужики! – похвалила нас Берсеньева. – Я буду вами творчески руководить». «Не надо, – сказал Шалунович неожиданно строго и неучтиво. – Вы отдохайте». Он, видимо, был знаком с Берсеневой. Берсеньева фыркнула и вынуждена была вступить в собеседование с Бессоновым. А Бессонов все еще сострадал нам, все еще бранил себя за оплошность.

– Забыл вот. Помнил, что надо оставить. А забыл. Надо бы мне сегодня, дураку, хоть со своего двора принести ведра три мусора.

Он смотрел, как мы, доходяги, ухали ломами, и горестно качал головой. Я ощущал его желание сейчас же схватить лом и переколоть весь лед. Но делать этого было нельзя.

– А где ваши моржи? – поинтересовалась Берсеньева. – Где ваш хваленый Барон?

– А там, – махнул рукой Бессонов. – Барон – там.

Тут, словно бы дождавшись предусмотренного этикетом запроса, явился из вод морж Барон, вылез, выбрался на мято-серый бетонный берег, должный изображать льдины, разлегся, фыркал, смотрел на наши труды. Я давно не видал моржей живьем, с детских лет, наверное, а может, в ту пору моржи до Москвы и вовсе не доплывали. Во всяком случае, мне отчего-то казалось, что моржи должны быть черными, а бивни иметь белые. И громадными представлялись мне моржи. Барон в громадины не годился. Ну метра два с половиной в длину, а то и меньше. А бивни у него были скорее желтые, причем левый – короче правого. Шкуру же он носил гладкую, почти без шерсти, бурую, боровиковой, что ли, масти, всю в складках-морщинах. И по шкуре этой на спине Барона шли пятна голого розового подкожья. «Фу-ты, пропасть какая!» – расстроился я. Морж Барон был дряхлый и жалкий. Впрочем, возможно, жалкими казались и мы ему. Барон, положив морду и бивни на ласты, смотрел на нас скучно и высокомерно. «Что вы с собой делаете-то? – виделось в его глазах. – И с нами». Мы с Шалуновичем словно бы сжались, ломы опускали вразнобой, несовершенство мира тяготило душу.

А потухшую было Берсеневу явление Барона, несомненно, оживило. «Милый, хороший, да какой же ты красавец! – слышали мы. – Иди ко мне на ручки! Иди сюда! Мальчик мой!» Барон посмотрел на Берсеневу, идти на ручки не пожелал, отвел взгляд. Берсенева не смутилась, она опять вступила в беседу со служителем Бессоновым. «У меня сейчас по диете, – открывала она свои бездны Бессонову, – час восхождения. Но что поделаешь, если в стране такой день». Она говорила, а Бессонов молчал. Но, возможно, обращаясь к нему, она имела в виду и иного слушателя. Но не нас же с Шалуновичем. Неужели Барона? Отчего же и не Барона? «...а вечером, уже вне диеты, – доносилось до нас, – сеансы медитации... но сегодня исключено, вы понимаете...» Бессонов кивал. «... хотя отчего же пропускать день, ведь войти в сущностное и высокое можно и с помощью бессловесных тварей, пусть и арктических, пусть и ластоногих, почему нет? В особенности если кому-либо из них дано принимать и передавать сигналы энергии, да, это так, отчего же и не попробовать...» Бессонов не возражал. «Иные убеждены, что в медитациях главное – духовное, свет, восторг и упади на колени; нет, нет, не менее важны и ощущения любви, причем и чисто физические, чувственные, секс. Да, и секс, и непременно секс, а как же, вы мне поверьте. У вас есть свой домашний гуру?...» Бессонов закурил. «Между прочим, я знакома с самим Станюковичем... или Стасюлевичем... или Степуновичем... Это они все заварили в сортировочном депо, я у них была – великий почин, вымпелы, подарки, бригады, мы ремонтировали электрические локомотивы, я там горела, я с детства, еще с пионеров, это любила, мне бабушка говорила: ты у нас общественница, красная шапочка, пионер, не теряй ни минуты, никогда, никогда не скучай, с пионерским салютом, ты всегда с пионерским салютом утро родины встречай, раз, два и – четыре! Теперь мне надо делать упражнения для талии и для пресса, у вас нет обруча? Ну тогда я так, вращения бедрами и грудью, раз, два и – четыре, ах, Барончик, иди сюда! Ну, иди, милый, я возьму тебя на ручки, ах, Барончик, какой же ты несносный, мальчик ты мой...»

– Она не пойдет, – сказал Бессонов.

– Кто она? – Берсенева не прекращала движений.

– Барон. Она гордая.

– Барон – морж!

– Морж, – согласился Бессонов. – Самка-морж.

– Но как же так! – возмутилась Берсенева. – Как посмели назвать самку Бароном?!

– Мало ли как. По глупости. Они, когда ее грудной от мамы отнимали, подумали, что это Барон. Делов-то.

– Гадость какая! Уродина какая! От нее ведь, наверное, и заразиться можно. От этих мерзких лишаев! – Берсенева стояла, оскорбленная подлым обманом, ладонь о ладонь терла, будто только что носила Барона на руках. – У вас хоть мыло есть?

– Есть, – сказал Бессонов. – Дома есть.

Мы тем временем с Шалуновичем раскололи весь дарованный нам материковый лед и на носилках оттащили его к месту ожидаемого прибытия автомобиля. И тогда у самой ограды взорам Бессопова открылся неожиданный клад, от чего служитель чуть ли не пустился в пляс. «Ну вот, а Дина Сергеевна ругалась! А тут для вас еще какие глыбы!» Оказалось, прошлой осенью здесь ломали низкий каменный бордюр, развалы его полагали убрать к ноябрьским, но никто и не подумал убрать, они перезимовали в уюте под снегом и льдом и вот теперь вовремя обнаружились. «Подарок-то вам какой! – радовался Бессонов. – А Дина Сергеевна ругалась!» Пришла Дина Сергеевна, и она обрадовалась. Однако следовало, и немедля, идти к хищникам, там есть что делать. Мы с Шалуновичем ударниками первых пятилеток бросили клич: «Время, вперед!» – и за сорок минут отволокли осенние обломки в надлежащее место. «Ну, спасибо, спасибо, уважили, мастеровые, – благодарил нас Бессонов. – И вам, женщина, спасибо». Берсенева поскучилась, потеряла возраст, взглядывала на Барона с брезгливостью и будто бы грубость желала отпустить этой плешивой ледовитой самке, ошибке заготовителей-звероловов.

Бессонов покачал головой, пообещал Барона покормить, но моржиха не поверила, дернулась, чуть ли не подскочила и скрылась в пучинах бетонного водоема.

3

А Дина Сергеевна повела нас к хищникам. И именно к хищнику тигру Сенатору. «Тоже небось самка!», – поморщилась Берсеньева. «Это Сенатор-то? Ну что вы! – улыбнулась Дина Сергеевна. – Это кот. Котяра настоящий!» «Ну если так, – весенняя свежесть возвращалась к Берсеневой, – я сейчас же войду к нему в клетку!» Но в клетку к Сенатору (тигр амурский и т. д.) никого не направили. Да и не надо было беспокоить животное. Сенатор спал. Дина Сергеевна передала нас служителю Василию, а сама отбыла, возможно, на другой фронт. В отличие от Бессонова, Василий был здоровенный малый, лохматый, веселый, в расстегнутом ватнике, он то и дело похохатывал и почесывал грудь, украшенную чайной мельхиоровой ложкой на цепочке. Похохатывал он, наблюдая и наши неловкие с Шалуновичем усердия, и ритмические удовольствия Берсеневой. Порой, казалось, он подмигивал нам: «Баба-то какая шальная и моторная, чего вы, мужики, теряетесь-то?» Мы удивлялись молча: «А сам-то?» – «Да вроде старье. А впрочем, посмотрим, если не возражаете», – отвечал он. Сама же Берсеньева недолго выбирала, кому оказать честь, кого произвести в поклонники. Фаворитом ее стал Сенатор. Впрочем, и Василия она совсем не отвергла. Тем более что Сенатор спал. Мы же с Шалуновичем занимались делом привычным – опять ломы и лопаты, опять носилки, опять лед из-под грязного снега, какие-то булыжники, обломки и среди прочего – две мятые целлулоидные куклы. Таскали мы прошлогодние залежи метров за пятьдесят, туда в кучу уже сволок кто-то приобретения не лучше наших. «Вот ты, Василий, этого не понимаешь, – слышали мы, – вот тигр, он и родится красивый, а человеку надо создавать себя... нет, не говори мне комплименты, к тому же со мной случай особый, однако же и я стараюсь... безвозмездный труд на благо всех – это свято, устану до изнеможения, а все равно пойду сегодня на корт... телефон я дам, ты запишешь на ватнике? Это прелестно, а он даже не ревнует, этот негодный Сенатор, ух какой красавец Сенатор, ну проснись, милый, мальчик мой, нет, он притворяется, он, конечно, не спит, он все видит, он страдает, в нем переселенная душа Принца, нет, Кларка Гейбла, нет, раз он Сенатор, значит, в нем Кеннеди, кто-нибудь из братьев... Нас принимали в пионеры, мне повязывал галстук Шверник, это свято, этого у нас никто не отнимет, я сняла нынче браслеты и перстни, чтобы не мешали труду, и педикюршу перенесла на завтра... где храбрый танк не проползет, там пролетит стальная птица... и через этого зверя можно войти в сущностное и высокое общение, ну иди ко мне, голубчик Сенатор, ну поговори со мной, разбуди его, Василий, может, палкой его какой ткнуть?..» – «Нет, – хохотнул Василий, – он не проснется!» Дождь прекратился, а мы с Шалуновичем взмокли. Мой кот Тимофей совсем иной масти, нежели Сенатор, но спит он точно как и Сенатор. Лапы под голову, тихое, невинное существо, ребенок. В эдакой позе пардусы вот уже лет семьсот дремлют на белых стенах Юрьев-Польского собора князя Георгия. Но сон котов чуток, и выбирают они для досуга места, с каких можно обозреть ближайшие пространства, чтобы ничего не проспять, а время от времени и открывают в целях инспекции глаз. И Сенатор иногда открывал глаз-желток. Но, кроме светской дамы Берсеневой, видеть он, похоже, ничего не мог. А Берсеньева старалась, она – естественно, с паузами для бесед – и вращала невидимый обруч, и становилась восточной девушкой, несущей, покачивая бедрами, кувшин на голове, и извивалась в некоем жреческом танце, готовя себя к медитации, была порой красива и заманчива и напевала нечто страстное в надежде вызвать движения чувств переселенных в Сенатора душ, но Сенатор спал. Лишь вздыхал иногда. Открывал глаз и закрывал. А потом он и вовсе захрапел. Но вдруг Сенатор вскочил. Прыгнул, бросился в левый угол клетки, мордой чуть ли не уткнулся в железные прутья, волнение было в его глазах. Поджарый, с нечистой на боках шерстью, он будто молить был кого-то намерен. Мимо клетки Сенатора шла женщина. Женщина не взглянула ни на Сенатора, ни на нас. Лишь что-то коротко бросила Василию. Запомнил я ее крепкой и круглой.

Главным же в ней было фиолетовое наверху, способное укрыть табачный киоск, – мохеровый берет луховицкой вязки. Сенатор по ходу ее шествия двигался вдоль прутьев клетки, уперся в последний прут, стоял, замерев, пока фиолетовое не исчезло за деревьями, тогда он то ли взревел, то ли вздохнул сладостно (были и ноты заискивания – или уважения – в его звуках), вернулся на покинутое им место и рухнул в сон. «Неужели фиолетовое так действует на тигров?» – подумал я. Следовало дома произвести опыт с котом Тимофеем.

– Понятно, – надменно произнесла Берсеньева, она была теперь леди, узнавшая о том, что ее кухарка ворует. – Эта женщина, видно, его кормит.

– Нет, она его не кормит, – хохотнул Василий. – Кормлю его я.

Он взглянул на Сенатора и добавил:

– Но от нее зависит, как его накормят. Она у нас старший бухгалтер.

Все нам назначенное мы исполнили и отправились за новыми указаниями. По дороге Берсеньева говорила, что подумаешь – Сенатор, у нее муж тоже в своем роде Сенатор, ну и что из этого, сейчас он в Люксембурге, в командировке, а тут дело святое, народ в своих прорывах и испытаниях не должен быть одинок. Вблизи хозяйственного двора она, углядев бригадиршу Анну Владимировну, чуть ли не закричала: «Уработались всласть! Но мы бабы, привыкшие к ломам и молоту! Что нам еще назначат?» «А ничего, – сказала Анна Владимировна. – Все. Большое спасибо. Мы свое сделали». «Как все?» – удивились мы с Шалуновичем, нам-то казалось, что главные подвиги и не начинались. «Все, – подтвердила бригадир. – Уже два часа. Штаб ждет донесений». Неподалеку курили Красс Захарович Болотин и маринист Шелушной.

– Аль еще охота раззудить плечо? – спросил Болотин. – Ишь прыткие какие. Кубанские казаки. И так уж небось ломит в руках и спине?

– Не без этого.

– Стало быть, требуется с устатку. Пойдешь в клуб?

– Не могу, – сказал я.

– Ну тогда дай десятку, коли ты с нами брезгуешь. Ведь взял же десятку на всякий случай, сознавайся?

– Ну взял... – промямлил я. – У меня дома сидят голодные.

– Это уже и не смешно. В день всеобщего бескорыстия – откровенная жадность... Это, брат, знаешь...

– Нет, – твердо сказал я. – Не могу, Красс Захарович.

Болотин рассердился:

– Ладно. Это, конечно, мерзко, подло, но ладно. Тогда, чтоб тебе хоть чуть-чуть не было стыдно, ответь все же, чем мы богаче животных. У тебя было время подумать. Ну? Что у нас есть такое, чего у них нет и быть не может?

– Разум, что ли?

– Это мы-то богаче разумом? Рыдайте, люди, рыдайте, посыпайте главы пеплом! Вот сейчас своими словами ты подтверждаешь людскую дурь. Человечи этим занимаються ежесекундно. Ладно, попроще. Что мы такое за тысячелетия придумали, чего нет у животных?

– Неужели телевизор?

– Очки, дурья башка, очки!

– Ну, Красс Захарович, – не удержался я. – Где уж очкам прийти в голову! Именно ваш разум я имел в виду, когда пытался вам ответить.

– Ну так это мой разум... – устало сказал Болотин. Далее он торжественно молчал и смотрел на меня, давая созреть во мне пониманию того, что я ради благоочищения человечества обязан сейчас же вручить Крассу Захаровичу Болотину десятку, а лучше бы – четвертной.

– Нет, не могу. Дома расстроятся.

– Экие мы с Шелушным сироты, – тихо вздохнул Болотин. – Знаешь, разреши тогда почитать тебе свежие стихи. – И он шагнул ко мне с намерением читать стихи – глаза в глаза.

– Нет, не надо, лучше потом! – взмолился я. – Вот вам, Красс Захарович, десятка, и вы с Шелушным идите...

Едучи в Останкино трамваем и пристроив на коленях авоську с буханкой хлеба, пакетом картофеля и пачкой крестьянского масла, купленными на чудесно спасшийся в моих карманах рубль с мелочью, я клял себя за слабость характера и неспособность вытерпеть чтение вслух свежих стихов, возможно и гениальных. Хотя что для устатка Болотина моя десятка... «Этак, – думал я, – мы долго не протянем».

4

Однако протянули и еще год. И апрельским утром я опять оказался в зоологическом саду на красном сборе прилежных субботеев. И опять шел дождь, но работали мы теперь под крышами. Среди прочего надо было на складе доски, прибывшие недавно и сброшенные куда ни попадя, рассортировать, разнести и уложить по штабелям. Доски были сырые, тяжелые и протяженные, как пролонгации договоров. Носить их приходилось вдвоем, а то и втроем. Работы вышли монотонные, приключений не случилось. Берсеневой я не увидел. Возможно, она пошла нынче на передовую. На линию огня. Запомнилось только участие в трудовом подъеме Пети Пыльникова. Имевший опять на меня виды Красс Захарович Болотин был отвлечен именно Пыльниковым. Мы уже час трудились, когда на складе возник Пыльников, пострел и оптимист. «У кого список? – прозвенел он и тут же отметил. – Что пашете-то?» «Да вот, Петечка, доски носим, потом перейдем на горбыль». «Бог в помощь! – сказал Пыльников. – Мне-то бежать надо, а то бы я... ну ладно, пятнадцать минут у меня есть». Шустрый, тощий Петечка был мал – с незабвенного Карандаша, в товарищи по субботнику он определил себе рослых Шелушного и Карабониса. Только они брали доску на плечи, он тут же оказывался между ними, руку левую вытягивал вверх, касался двумя пальцами доски или не касался, добросовестно сопровождал груз к штабелям, а когда Шелушной и Карабонис сбрасывали доску, кричал смачно. Совершив так четыре ходки, Пыльников раскланялся: «Надо бежать, надо бежать, сами понимаете». И был таков. Красс Захарович Болотин замешкался, задержался, но инстинкт самовосполнения все же заставил его броситься вдогонку Пыльникову. Минут через пять Болотин вернулся и снова вызвал у меня мысли о моченом яблоке. «Скотина! – негодовал Болотин. – Жирная свинья! Укатил на своем „мерседесе“! Во всех храмах будет предан анафеме! Тексты его изгонят из трактиров и ресторанов! Ему бы, аспиду, рублей триста со своих-то пирогов и стерлядей внести в фонд, а он попрыгал под досочкой и утек на белом „мерседесе“. Полагает, что Синатра и Лайза Минелли поют его тексты; накость выкуси, Толкунова и та не всегда берется. Насобачит сейчас что-нибудь вроде „Мы кузнецы, и дух наш молод...“! „Ничего не дал?“ – теряя надежду, спросил Шелушной. „Мало дал! – заявил Болотин. – И так дал, будто думал не о всеобщем братстве, а о прожиточной рифме. Еще и оскорбил. Жирная свинья! И не только свинья, но имышь-землеройка! И его надо держать здесь, в клетке, рядом с тобой!“ „Но одолжил все-таки“, – обрадовался Шелушной. На всякий случай я носил доски подальше от Болотина и уцелел. День закончился благополучно. И пристойно. Если не считать мордобитий в пивном автомате на Королева, куда я заскочил промочить горло. Отчего-то после трудов на субботники люди в автомате бывали особенно раздраженные и грубили друг другу без всяких на то причин...

5

В третий раз я приехал в зоопарк бывалым закаленным бойцом. Весна вышла теплой, снег стоял, ночью, правда, морозец задубил землю, но небо было ясное, улыбочное. На хозяйственном дворе в толпе субботеев я увидел начальника штаба по проведению Мысловатого. Он тут же указал на меня пальцем:

– А вот и он! Вот вам бригадир!

– С чего бы вдруг? – удивился я.

– Анна Владимировна заболела, – сказал Мысловатый, – а вы, как я слышал, заслуженный ветеран. Все здесь знаете. Будете бригадиром. Дело государственное.

– Бригадиром так бригадиром, – согласился я. Слова «заслуженный» и «государственное» кумачовым кушаком спеленали меня как гражданина. И знал я, что делать бригадиру. Как я ошибался...

– И вот что, – положив мне руку на плечо, Мысловатый направил от бригады в сторону. – Самым существенным для вас должно быть...

– Работа, – проявил я свою осведомленность.

– Работа? – поглядел на меня Мысловатый и поправил очки. – Да, работа. Конечно, работа... Но это для бригады. А для вас... Вы зайдете к директору или заму, они выправят документ, они сделают, они знают. Но вы, будьте добры, проследите, чтоб там было «выражаем благодарность» и человеко-часы. Вы меня понимаете?

– Понимаю, – неуверенно сказал я.

– В два, ну в полтретьего надо иметь сводку. Чтобы снести с районным штабом. А потом и с городским. Тут и нужны человеко-часы.

– Звере-человеко-часы, – возник вблизи почти секретного разговора Болотин. – Опять вы, Красс Захарович, в своей манере, – деликатно, но и с укором улыбнулся Мысловатый.

– А еще лучше – озверело-человеко-часы.

– В какие, в какие часы, Демьян Владимирович, приедет сюда телевидение? – Движением тела нас с Болотиным оттеснила от Мысловатого светская дама Берсеньева, дотоле на хозяйственном дворе невидимая. Ее бы стоило осадить или просто шугануть; но на Берсеньевой был недостижимо белый костюм («Белизна ее поразительна, – пришла на ум ковенская полячка из „Тараса Бульбы“, – как сверкающая одежда серафима»), и я в беспокойстве от нее отпрянул – как бы чего не запачкать. В подобной непорочности кителей и фуражках, какие невозможно было унижить пятнами или помарками, вожди стояли на авиационных праздниках в Тушине. А на груди Берсеньева повязала шелковый алый бант, острые углы его напоминали о святом в ее детстве.

– Телевидение сюда не приедет, – сказал Мысловатый.

– Ну или кинохроника, – настаивала Берсеньева.

– И кинохроника. А телевидение... – Мысловатый полистал штабной блокнот. – Будет снимать наших на чтении... Сейчас скажу... На «Серпе».

– Туда Жухарев полетел! Вот стервец! – воскликнула Берсеньева. – Мне сказал, что снимать будут в зверинце. Ну это мы еще посмотрим!

Берсеньева взвилась и исчезла.

– Откуда она? – спросил я Мысловатого.

– Берсеньева-то? – удивился начальник штаба. – Из устного университета культуры. Ну как же. Очень темпераментная особа.

– Кобыла Пржевальского! – сказал Болотин.

– Ну опять вы, Красс Захарович, – расстроился Мысловатый. – Она темпераментная в общественном смысле. И очень отзывчивая на мероприятия.

На хозяйственном дворе нас опять снабдили лопатами, ломами, граблями, ведрами, носилками, рукавицами и посоветовали взять топор с пилой на случай, если из института станут перекидывать. Работать бригаде предстояло на новой территории – через Большую Грузинскую, за пресмыкающимися и гадами, возле обезьянника. На мой вопрос, что делать пилой и что станут перекидывать и из какого института, ответили: «Там сами увидите. Или вам скажут». Возле обезьянника нам открылся пустырь с разбросанными там и тут камнями и хламом. Откуда эти камни, объяснить никто не мог. Главное, пришло время собирания камней. Пока я прикидывал, кого и куда поставить, ко мне подбрили два чужих мужика:

- Командир, а где здесь это?
 - Туалет, что ли? – спросил я рассеянно и не подумав.
 - Да нет, не туалет. А это... Что с утра...
- Я вынужден был взглянуть на вопрошавших.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.